

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ДАЧ, САДОВЫХ ДОМИКОВ

● Принадлежащие Вам на праве личной собственности строения застрахованы по государственному обязательному страхованию только в размере 40% их стоимости. В дополнение к обязательному страхованию строения можно застраховать в добровольном порядке еще на 60% их действительной стоимости.

● Стоимость строений определяется по государственным розничным ценам (с учетом износа).

● Договор добровольного страхования строений обеспечит Вам максимальное возмещение ущерба в случае гибели (повреждения) строений от пожара, удара молнии, наводнения, бури, ливня, града, обвала, оползня и других стихийных бедствий.

● Договор заключается сроком на 1 год.

● С 1 апреля 1988 года Госстрах предлагает новую форму обслуживания — добровольное комплексное страхование строений и домашнего имущества по единому страховому свидетельству.

● Подробнее ознакомиться с условиями страхования и оформить договор можно в инспекции Госстраха или у страхового агента, обслуживающего Вас по месту работы.

Госстрах РСФСР



№ 15

1988



Андрей БИТОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ПОВЕСТЬ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

Андрей БИТОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ПОВЕСТЬ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Андрей БИТОВ

Андрей Георгиевич Битов родился в Ленинграде в 1937 году. Окончил Ленинградский Горный институт. Первый рассказ опубликован в 1960 году. Автор пятнадцати книг прозы: «Дачная местность», «Аптекарский остров», «Дни человека», «Книга путешествий» и других. Автор романа «Пушкинский дом», оконченного в 1971 году, опубликованного в журнале «Новый мир» в 1987 году. Повесть «Человек в пейзаже» продолжает цикл размышлений писателя о месте человека в мире, начатый повестью «Птицы, или новые сведения о человеке».

ЧЕЛОВЕК В ПЕЙЗАЖЕ

Взгляни на камень, который выбросили строители: он — краугольный.

Это место мне явно не принадлежало. Я его не назову. Анонимность будет моим оправданием. Описание из опасения быть неточным будет минимальным. Тот, кто узнает, пусть простит.

Оно было внезапным, это место. Или стало внезапным. За обозримую нашу жизнь это произошло. Раньше, возможно, оно как бы произрастало из местности более широкой, венчало ее. Теперь оно бьет по глазам, его не может быть... ибо уже не стало того города, что его обособывал. Нет, это не описание после атомного удара... Здесь строилось и жилось; все прямо и прямо, проспект, ни в чем не изменившись, становился шоссе; те же многоэтажные мертвенно-бледные коробки, равно нежилые: заселенные и незаселенные, достроенные и недостроенные; людей не было видно, чтобы они входили или выходили из них; казалось, едешь по одному и тому же месту, то есть как бы и стоишь; и вот на пределе города, когда шоссе уже окончательно ныряло в не столь освоенное пространство России, надо свернуть налево, и усыпленное однообразием дороги сознание оказывается совершенно не готово к восприятию...

Во-первых, холмы, во-вторых, деревья. Будто земля задыхалась, будто вздымается и опускается грудь — вы и дышать-то начинаете в такт взгорбам и поворотам дороги, уже по-человечески узкой. И тут по холму змеей побежит белокаменная стена некоего кремля, и вы упретесь наконец в неправдоподобно прочные и толстые его ворота, а там, на территории, все другое: ровные газоны, старые деревья, храм божий... Музей и заповедник, воронье счастье. Пространство. Сначала культурное, а потом окультуренное. Несвойственно стоят здесь и старинные деревянные постройки, сами по себе очень приятные. Они свезены с Севера со всех уголков. Вы посетите избу, в которой останавливался в Архангельске Петр. Там вы смеряетесь с ним ростом и ладонью (зарубка на дверном косяке и отливка с отпечатком пятерни). Постепенно вы минуете уже окончательно отреставрированную и отреставрированную часть

заповедника, все чаще станете наталкиваться на кучи строительных материалов и мусора с видом на удивительную колокольню, шедевр русской готики: островерхий многогранник ее шатра вписан в подобный ему многогранник строительных лесов, и эта непривычная глазу острота и граненость каким-то образом останется все-таки русской. Насытившись осмотром всего, что восстановлено и восстанавливается, вы можете проследовать и дальше...

О этот незаметный переход из жизнеутверждающей некрасоты стройки в запустение и одичание! Бурьян. Единственно ли подорожнику под силу победить вытоптанность, или он ее полюбил, предпочел? Репей, лопух, одуванчик... И чистый их лист уже пылен. Консервные банки прорастают в землю, ржавея и рыжая; в газетных клочках выгорает текст; тряпье дотлевает трупом, тоскуя по человеческому телу, на смену пыльному лопуху поспевает от рождения пыльный лист, такой ласковый на ощупь, — это жизнь, обученная смертью. (Здесь увидел я наконец-то пробивший свалку, непристойно торчащий красный петров крест. Как ужас детства пронес я его — он оказался потом всего лишь растением — сквозь всю жизнь, как слова «война», «фашист», «изолятор»: он рос для меня в сорок четвертом году за пищеблоком первого пионерлагеря, и мы называли его рак земли.) Замечательно борется природа с культурным слоем! Эти мусорные цветы и травки, как пехота, отвоевывают ей землю, чтобы восстановить свою культуру. Дикая природа не будет такой запущенной. Запущена она лишь там, где что-то раньше было, пусть даже прекрасный парк. Одичавший и измельчавший малинник сбегал в овраг, и я за ним. Там струился загчивший ручеек, и новая дощечка была перекинута через него.

От новой дощечки шла вверх круто и высоко гнилая лестница с одним обрушенным и другим торгово восстановленным перилами. Тут была тень и серь, веяло сыростью. Все то же качество одичалости проявлялось во всем, особенно в зеленом листе. Лист не был зелен, хотя он уже не был и пылен. Он был такой жестяной и обесцвеченный, как лист искусственного венка на заброшенном кладбище. Но стоило наконец подняться, минув проваленные ступени, чтобы там и оказаться: наверху кладбище и было с тем мусорным венком...

Культура, природа... бурьян, поваленные кресты. Испитое лицо. Тяжко вообразить, как здесь было каких-нибудь три-четыре века назад, когда строитель пришел сюда впервые... Как тут было плавно, закончено и точно. Роскошный скелет все еще проглядывал сквозь прохудившуюся рвань драпировки: так же крут был берег, так же широка река, так же внезапно отступал он, оставив под собой нежно-зеленое озеро пойменного луга, и вдали вдруг поворачивался как от окрика и замирал в далекой синеве леса, словно река, вильнув, поменялась берегами, и левое стало правым, а правое левым... и небо, разве чуть подвыцвев, оставалось, наверно, прежним. Какова же была здесь линия, если она еще

оставалась!.. А такова, что настоятель и строитель вздохнули дружно и глубоко, и сомнений у них не стало: здесь!

Большого природа предложить не могла. Завершенность предложенного была очевидна. В такие места просится храм, кремль, город. За какой-нибудь век люди справились с этим пространством, в него вписавшись, и оно стало культурным. О мере законченности и совершенства этого культурного пространства можно было теперь лишь судить. По тому «участку» при входе (уже не в монастырь, а на «территорию»), где все было восстановлено «как было». В новизне и прибранности видна была скороспелость «плана». И краска тут пошла какая была, и трава росла не сотню лет, и дерево досок и бревен еще помнило о топоре топора. Но это ладно, бог с ним. Пройдет время (и небольшое!) — и, прежде чем все здесь снова начнет рассыпаться (на этот раз еще быстрее), будет-таки пауза времени, когда все станет так: почти как было. Время ведь тоже трудится, как человек: сначала совершенствуя и лишь потом — разрушая. Занятное количество границ! Дикой природы — с одичавшей культурой, одичавшей культуры — с культурным пространством, культурного пространства — с разрушением, разрухи — с одичанием, одичания — с дикостью... Все тут было во взаимном переходе, во взаимном обрыве...

Я вскарабкался по обрыву. Никогда, ни в каком буреломе не можете вы наблюдать той мерзости запустения, как в разоренном культурном пространстве! О, насколько одичание дичее дикости!.. И ветер победно шуршит в помойке, бывшей когда то храмом и кладбищем. Раскачиваются венки, перекачиваются банки, перекаати-полем скачет газета. Прорастают кирпичи и мерзкие кучки. Вспархивают вороны, кружась над былым, не над настоящим. И слой сквозит сквозь слой, как строй сквозь строй.

И вот из слоя в слой, оскальзываясь и огибая, попадешь во внезапную точку, и в ней острый, со свистом (отнюдь не облегчения...) вдох прервет тебе прокуренную грудь: отсюда все видно! Все как было. Каким образом всегда сохранится эта единственная точка, уже не зрения, а — луча, с которой вы очнетесь и вспомните, именно в с п о м н и т е, как было?! Что же это?!

Но не попробуйте сделать и шаг в сторону! Если уж посчастливилось, нет, сподобилось, оказаться в такой точке — она единственна. Шаг влево, и стадо подъемных краков расклеивает пространство на горизонте; шаг вправо — и вы летите под кручу, в помойку и свалку; шаг назад — и либо наступите, либо порвете брюки о колючую проволоку...

Культура, природа... Кто же это все развалил? Время? История?.. Как-то ускользает кто и когда. Увидеть бы его воочию, схватить бы за руку, выкрутить за спину... Что-то не попадался он мне. Не встречал я исполнителя разрушения, почти так, как и сочинителя анекдота... Одни любители да охранители кругом. Кто же это все не любит, когда мы все это любим? Кто же это так не любит нас?..

Я смотрел из единственной точки.

Нет, в мире — осталось!

О, знал бы я, что это не я так видел и понимал, как сейчас пишу... Дал бы я деру! Это я теперь так понимаю и вижу. Трудно не перепутать прошедшее с будущим вплоть до их последовательности в настоящем, если само пространство, кажущееся нам более объективным, настолько их (времена) перепутало...

Я стоял покачивушись, опасаясь, или робея, или не смея сделать хоть шаг. Неустойчивость позы объяснялась единственностью точки зрения.

Там он и сидел. Разрушитель последней точки... В неправдоподобной позе, на неустойчивом, накренившемся стульчике, держась за кисточку. Я повис у него над плечом. Он обернулся...

Не берусь описать. Меня не было в этом взгляде настолько, что не знаю, как я не исчез. Мало сказать: он взглянул на меня с испугом; неправильно — со страхом, неточно — с ужасом. Лишь долю секунды провисел я в его покачнувшемся взгляде, но поканулся и стульчик, дрогнула кисть, он поспешил в прежнюю точку, совершенно меня не заметив. Секунду лишь покачался на нити моего взгляда, как канатоходец, восстанавливающий равновесие.

Нас с ним снова ничего не связывало. Он себе сидел и писал из единственной точки, в которой я и оказался. Не было со мной любимой, чтобы полюбоваться вместе. Полюбоваться вместе... никакой двусмысленности. Ее не было. Давно же ее со мной не было!

Бездна не пустота и пустота не бездна. Я пролетел насквозь и то и другое.

Я разозлился. И именно на этот рисующий пень. Он заткнул мне единственную точку зрения. Пейзаж из-под его кисти совершенно не соответствовал единственности, избранности положения. Нелады с цветом... Он шел из левого верхнего угла холста — по-видимому, по диагонали — в правый нижний. Синий лес слева вверх, серебряная подкова речной излучины посреди; в правом нижнем углу, невидимый себе, зацепившись, прилипшим волоском сидел уже сам живописец. Правый верхний угол пустел для неба, еще никак не прорисованного, ни облаком, ни крестом, ни птицей не осененного. В левом нижнем темнело расплывчатое поле зрения. Я оглянулся через левое плечо. Это было неоправданно, будто он мог написать что-нибудь из того, что у него за спиной, будто, оглянувшись, я мог увидеть самого себя... Там из кучи мусора произрастал устрашающе напряженный фаллос петрова креста. Я содрогнулся. Это тоже был взгляд. Надо же, чтобы этот моховик с мольбертом именно так на меня посмотрел. Как она! Ее не было. Он — был.

Он уже знал о моем существовании, хотя и не оборачивался больше. Я до него дошел. Нить, натянутая между ним и пейзажем, ослабла и провисла. Неустойчивая, вдохновенная его фигура, цеплявшаяся за угол холста, успокоилась и осела. Стульчик стоял устойчиво, плечи по-

висли покойно, кисть увязла в палитре. Был тот последний, вечерний час, когда небо еще раз светлеет, как та свеча, что вспыхивает перед тем, как погаснуть. На холсте у него уже смеркалось. Он напоминал рыболова, у которого не клевало целый день, но именно сейчас он решил смазывать удочки, все еще подергивая поплавок... Бояться мне было нечего. Недавняя чувствительность уравновешивала наглость.

— Я вам не помешал?

— Помешал, помешал! — живо откликнулся он и с облегчением отложил кисть.

— Тогда позвольте...

— Позволил, уже позволил.

— Спросить я имел в виду...

— И я ничего другого.

— Учтите, я профан. То есть, простите...

— Я вам охотно верю. Иначе бы вы сразу увидели, что и я профан.

Его неоправданная, на мой взгляд, гордость обидела меня. Но я сдержался.

— Что же вы молчите? — напал он. — Или вам не нравится?

Он мне показался ясным: не из тех, кому можно сказать что думаешь.

— Нет, что вы. Прекрасный вид.

— Вид!.. — Он пренебрежительно поджал губы.

— Я ведь предупредил, что я профан... Вид и пейзаж — есть разница?

— Принципиальная! — тут же клюнул он. — Вид — это то, что и вы увидите. Пейзаж — это то, что увидел я. Вид, собственно, — и он взглянул на картину и вздохнул, — не может быть написан никогда...

— То есть?..

— И никем, — уточнил он гордо. — Кто написал снежные горы? Или лес?

— Шишкин, — сказал я не раздумывая.

— Ну знаете ли... — Всем своим видом он дал понять...

— Гор я и впрямь удачных не вспоминаю, — чуть поправил я свое положение.

— Вот видите! Разве можно написать то, что равно себе, — в том же значении? Кто нарисовал пустыню? Море?

— Айвазовский, естественно, — сказал я.

— Ну знаете ли! — Он был возмущен. — Скажите: Тернер, — я и то поспорю.

— Ну Тернер-то чем плох? — с апломбом сказал я, не уверенный, что не путаю его с Тенирсом. «Вы имеете в виду старшего или младшего?» — хотел блеснуть я, но, к счастью, удержался... — А Левитан, Васильев?.. Разве им не удавался лес?

— Я не такой уж поклонник Левитана... Цвет, знаете ли... — Он

осторожно покосился на собственный холст. — Тучи, — сказал он задумчиво.

Я посмотрел в небо: оно было ясным.

— Тучи им удавались. Поле, а не лес. Поле — это уже море. Чистое небо им не удавалось. — Он повторил мой взгляд в небо. — А тучи, блики, отражения... Оправданный абстракционизм. — Он поджал губы. — Самовыражение... — Похоже, он презирал «самовыражение»... — Нет, вида никто не написал! То, что им удавалось в какой-то степени, есть не вид, а состояние.

— Импрессионизм? — проявил я догадливость.

— Если хотите. Преддверия, предчувствия... Пред-верие в лучшем случае. Но они считали себя объективными, то есть это мы их считаем реалистами... То есть я хочу сказать, что они всегда оправдывались. Оправдывались, что так бывает, оправдывались реальностью опыта, пусть самой мимолетной. Их всех побеждала фотография, и они с нею боролись.

— Ну, качественную разницу между живописью и фотографией и я знаю, — несколько обиделся я.

— Знаете? Ну-ну... А я и не ругал фотографию. Это вам показалось. У фотографии заслуга перед живописью первостепенная.

— Какая же? — спросил я, как бы снисходя к его ортодоксальности.

— Прямая. Она обозначила, чем живописи заниматься не следует. Раз этого же можно достичь механически, аппаратом. Именно она породила импрессионистов.

— От противного? — догадался я.

— От очень противного. Фазан — отдельно, сазан — отдельно, как говорил один замечательный грузинский художник. Сезанн — отдельно... — И облачко восхищения и скорби подернуло его чело.

— Что же нам породило кино? — усмехнулся я.

— А это уж не моя компетенция. Может, следовало бы прекратить писать романы, а?

— Ну романы-то тут причем?

— Вам виднее. Я хотел сказать, что пейзажист лишь индивидуализирует вид. Он не способен его отразить, он способен лишь отразиться в нем. Вид и индивид — один корень?

— Нет, — ответил я, в твердость свою вкладывая и Шишкина, и Тенирса, и фотографию.

— А подходит... Я имел не только это в виду... Видите, опять вид?... Пейзажист индивидуализирует вид не в том только смысле, что вносит свое видение и свою индивидуальность... а в том, что и сам вид, зафиксированный в пейзаже, должен или вынужден стать частным по отношению к самому же себе, замереть поневоле, приобрести выражение: освещение, ветер, прочие метеоусловия... Хм, — удивился он, — вот поворот! Ровно наоборот — в портрете. В портрете — писать состояние моде-

ли равно по вкусу Шишкину. Нелепо было бы писать портрет взбешенного, или рыдающего, или хохочущего человека.

— Разве не хохочет запорожец у Репина?

— Я и говорю. Это частность. Это жанр в лучшем случае. Это характер, а не портрет. Портрет — это обобщение, сущность, ну, внутреннее состояние. Пейзаж обобщенным быть не может. Кто вы, чтобы претендовать на понимание внутреннего состояния моря или горы? Вот вы говорите: Шишкин. Он и есть доказательство. Пейзажа как портрета вида не существует. Нарисовал Шишкин портрет дерева?..

Какая-то неоправданная для меня скорбь прорезала его чело. Борода его дрогнула.

— Что с вами?

— Сезанн... — сказал он так, как говорят про больной зуб.

— Что Сезанн?

— Потом, потом... — отмахнулся от так, будто «сейчас пройдет». С тоской взглянул на мольберт. — Не получится уже...

— Что вы, что вы!.. — попытался я. — Очень мило. Вы нашли единственную, по-моему, точку.

— Вы ее тоже нашли...

— Ну, это не такая моя заслуга.

— Вот видите, вы совсем не так мало понимаете, как говорите... — Он быстровато взглянул на меня взором и мутным и лукавым и, пересилив себя, с прищуром метра заставил нанести невнятный мазочек — табуретка под ним сразу покачнулась, но он устоял.

Польщенный, я таки начал со лъстивостью ученика:

— Почему именно в таком вы решили формате?.. Меня всегда занимало...

— Окно. Это такое окно. Живопись, по-моему, это окно. Или зеркало. Зеркало — это ведь тоже окно. Окно сквозь стену — в мир. Так ей потом и висеть — на стене.

— Понимаю, — сказал я, не до конца поняв. — Холст, формат, перспектива, взгляд. Рамка видоискателя... Выбор точки... Но вот точка на холсте... с которой вы начали его заполнять... где она и почему?

— Заполнять... — брезгливо поежился пейзажист. — Скажите еще — рисовать!

— Ладно, — сказал я, тоже злясь, — писать. Вы можете указать мне точно, в какой точке вы начали писать этот холст?

— Это сложный вопрос. Все зависит от натуры. Птицу, например, надо писать с клюва.

— Какую птицу?

— Ну вообще...

— А вот здесь? — Я ткнул в его холст.

— Уже не вышло, — уклонился он.

— Почему же не вышло! — Опять надо было щадить его самолюбие! — Очень даже.

— Потому и не вышло, что не оттуда начал! — зло сказал он, сняя холст.

— Откуда? — Я ткнул пальцем в сторону реки.

— Угадали... — Сквозь его седоватый бурелом проступила краска. — Угадали! Я вовсе не художник! Я на это не претендую! Я не за тем сюда хожу!..

— Зачем же?

— Вам этого не понять.

— Вы слишком строги, — обиделся я, — и к себе и ко мне. По-вашему, вообще ничего нарисовать невозможно: ни пейзаж, ни портрет... А натюрморт?

— Вот его можно! — ни с того ни с сего возликовал он, будто тут же собрался, оставив пейзаж, взяться за натюрморт. — Вы сами не понимаете, как вы правы! Портрет тоже можно... Но — единицы! гении! Леонарды! Животное кто-нибудь написал? — выпалил он в меня.

— Птицу — с клюва, — процитировал я.

— Птица — существо удаленное... — непонятно сказал он. — Возьмем зверя. Никто! Разве что Дюрер носорога. Так он рисовал его по клеточкам. На этот раз не писал, а — рисовал. Это был первый носорог в Германии, может быть, в Европе. Дюрер был поражен. Не как гений, а как нормальный человек. Вот пораженность-то у него и вышла. А какой был рисовальщик! Какие тогда были рисовальщики!.. Любой экспедиционный художник... Иногда мне кажется, что только они и художники... Которые ничего не хотели... — Он забормотался и забыл про меня.

— Дюрер, — сказал я, — нарисовал зверя?

— О да! Он хотел лишь зафиксировать. Он отнесся к линии как к букве. А вышел гениальный апокалипсический зверь!

— Не противоречие ли? — вкрадывался я. — Только что зверя было невозможно нарисовать.

— Нимало! — ликовав он, радостно складывая свой скарб. — Нарисовать можно. Написать нельзя. Невозможно. Поэтому, кстати, живопись и стала искусством.

— Но ведь рисуют же!

— А вы не писатель, случайно?

— Случайно, — был я вынужден.

— Так вот. Я вам скажу: пишут же?..

— Не хотите ли вы сказать... не можем ли мы заключить... что то, чему можно научиться, не есть искусство?

— Вот видите.

— А если учиться, учиться и учиться? — обрадовался я.

— Недостаточно.

— А если работать, работать и работать?

— Того меньше.

— А если просто вдруг... ни с того ни с сего... как бы понять...

— Вдохновиться?

— Ну.

— О да! — возликовал он. — Может быть... — вздохнул он. — На один раз.

— Так как же быть?

— Бог знает.

— И все?

— А вам мало?

— Мне — много.

Мы рассмеялись и вместе спустились в овраг.

— Вот вы говорите — гений... — сказал он, хотя я этого не говорил. Я уже перешел дощечку, а он еще нет. В овраге была уже ночь и затеплились гнилушки. Из глубины его оволосения тускло и смело сверкал вдохновенный взгляд. — Гении все мадонну с младенцем писали. Мадонна получалась, младенец — никогда. Замечали? О, это такая тайна! Вы сразу не поймете... Гений нам кажется особенно воплотившимся человеком. Мол, обычный человек не сумел, а он — на сто процентов... Дудки! (С чего это он так вскипятился?..) Гений есть максимально неудавшееся воплощение! С его, естественно, точки зрения, а не с нашей. Ни по вертикали, ни по горизонтали. То, что у гения за спиной (а ведь гений-божество так и помещается — за спиной...), есть безмерная диспропорция по отношению к так называемому выходу... (знаете, в столовых в меню пишут «выход»... мяса в котлете?) То, чем мы восхищены, есть для гения полная неудовлетворенность и несчастье. Он-то знает сколько! Вот настолько он и воплощен, насколько получился у него младенец. Если гения, не дай бог, признают при жизни, его убивают, лишив именно этого неудовлетворения. Впрочем, чаще их просто распинают. Так гораздо рациональнее, все достается людям, включая и лестность нашего ими восхищения...

Он наконец перешел по дощечке. «Уж не с гением ли я опять имею дело?» — криво подумал я: больно выстраданно прозвучали его слова. Но он был и впрямь гений...

Перейдя дощечку, как пропасть, он снова остановился и стал рыться в своей рыбацкой сумке (из-под противогаса... как она у него уцелела?). Само собой, извлеклась оттуда бутылка портвейна «Кавказ» (0,8) и стакан (один). Стакан он протянул мне.

— Не откажите?

— Я не пью.

— И давно?

— С некоторых пор.

— Ну, это не страшно.

— Я портвейна не пью... — настаивал было я.

— А вы и не пейте. Я ж не вынуждаю, — ласково сказал он, стакан оказался сам в моей руке, и меня обдало жаром его непонятной власти.

— Вы — гений... — прошептал я.

— Гений и злодейство — две вещи... Гениев сейчас нет. Они не работают. Нельзя написать лишь шедевр, с которым остаются. Нельзя одну Джоконду... Нельзя написать сразу избранное, не правда ли?

— О да! Вы правы.

— Перепроизводство — условие гения. Кому нужен тридцатый том Диккенса? Или девяностый Толстого? Что они, в двенадцатом не выразились, что ли? Нам бы не хватило?

— Кажется, вы перегибаете?

— Перегибаю. Так я ж не в жэке. Я не правильно, а — правду хочу сказать. Вам достаточно Дон Кихота из всего Сервантеса, Гамлета из всего Шекспира?.. Вот вы, профессионал, сколько прочли книг?

— А сколько картин вы не видели? В Лувре, в Прадо, в наших запасниках?

— В наш век есть книги, передвижные выставки... Нам как бы проще. Хотя картины не картинки, чтобы их смотреть. Их у в и д е т ь надо.

— Вот и книгу надо прочесть.

— А я и спрашиваю: сколько книг вы прочли?

— Да я «Дон Кихота»-то не прочитал...

— А «Гамлета»?

— Его прочитал. Недавно.

— Сколько вам было?

— Сорок.

— Спасибо. А Библию?

— Что вы меня допрашиваете?!

— Да вы не сердитесь... Я Ван Дейка от Ван Эйка отделил еще позже. Узнал, кто такой был Ван Эйк, представляете?

— Старший или младший? — Тут уж я обнаглел.

— А вы будто знаете! — надулся он. — Вы тоже только одного знаете, а про второго слышали. Я же вас не спрашиваю, что Ван Эйк написал! Чтобы вы в Благовещеньях не запутались... Я думал, вы человек, что с вами говорить можно.

Он не на шутку обиделся. Разочаровался он.

— Ладно, — согласился я, — в двадцать семь лет. В двадцать семь лет я впервые Евангелие прочел. И то от одного Матфея. А Ветхий завет так и не прочел, кроме псалмов и Екклесиаста. Но с тех пор при себе держу.

→ Раскрываете и закрываете?

— Раскрываю и закрываю. — Он мне положительно понравился.

— По половине?

— Ну разве что... — замямлил я. — По половинке.

— Так вы же не пьете? Вы не пейте, я не обижусь... Моцарт — гений? — спросил он, приняв.

— Вот уж гений!

— Всё-всё — гений?

— Всё-всё гений.

— И вы все слушали?

— Ну не все. Но много. Сколько удавалось.

— А вы знаете, сколько вещей его вообще исполняется?

Я не знал. Уж больно он таинственно спросил.

— Десять процентов! — Он не в силах был сдержать ликования.

— Да ну! — Я был изумлен.

— Вот! Перепроизводство — это еще одно свидетельство невоплощенности гения, уже по горизонтали. Чего ему гнать да гнать, если он уже воплотился?

— А — квшать? — тут уж я его подловил. — А «не продается вдохновение»?

— М-да, — тут он вздохнул. — Вы знаете, во что обходился Моцарту новый камзол?

— Этого не знаю.

— В симфонию!

Стояла полная ночь. Во всяком случае, здесь, в овраге. Мы дышали друг другу в лицо. Мы осветили их, прикуривая. На лбу его вздулся драгоценно комарик.

— Вы позволите? — И я стукнул его по лбу.

— Спасибо.

И мы полезли к выходу, там еще светлело разбавленными чернилами небо.

— Ры бы видели этот камзол! — пыхтел он вниз. — Это же райская птица! «Вгляни на лилию, как она одета!» Не хуже был вынужден одеваться и Моцарт...

— А как же... при дворе... — с пониманием отозвался я.

Мы вышли к строительной площадке. Там было лысо и неожиданно светло. Внизу осталась совсем уже ночь. Особенно светлела колокольня в лесах, а звонница даже будто светилась отдельным, сквозящим светом. «Изумительно!» — хотел уже воскликнуть я, как бы забыв о новом друге, все-таки — кому-то...

— О да! — сказал он мне в затылок. — Наша, русская, готическая... Хотите внутрь?

Я хотел. Он чувствовал себя здесь уверенно. Он имел к этому всему какое-то отношение.

В двери торчал огромный кованый ключ. Но дверь была заперта и изнутри. Он потряс ее и постучал. С карканьем с колокольни снялись вороны. Небо от них еще побелело.

— Сейчас откроет, — сказал он, еще раз постучав.

С реки, обозначив пустоту сумерек, продудела по-бычьей баржа. Потянуло листовым дымком словно от этого прощального мычания.

— Да что же они там... что ли?

Это замечание меня до некоторой степени протрезвило. Я слишком себе это представил.

Он загрохотал в дверь изо всей силы.

Гигантское, серое, змеевидное существо выткалось из сумерек. Я вздрогнул и чуть не заорал «мама!».

— Линда! Линдочка! Чертяка! — ласково потрепал пейзажист этого дьявола.

Это была мраморная догиня ослепительного ужаса и красоты.

— Заждалась? — нежность в голосе была необыкновенная. — Пошли! — сказал он решительно и повернул ключ в скважине. Но тут и еще мысль постигла его, и он ключ этот из скважины вынул и протянул мне. — Держите.

Я недоуменно держал в руках. Это была вещь. Размером с нашу догиню.

— Держите, не бойтесь. Это вам на память. Когда захотите, придете.

— А как же они?..

— Найдут способ. Пусть не запираются... Да там и нет никого.

Окончательно не поняв, я проследовал за ними с ключом в руке. Дорога шла в гору, и я на ключ опирался. Дьяволица бежала впереди, то растворяясь, то выпадая из густеющих сумерек.

— Актриса! — гордо повествовал он сверху вниз. — Я ее сегодня на съемки водил. Здесь, рядом. Снимают оккупацию. Нет, здесь, собственно, немца не было. Это новгородская досъемка. В роли любимицы оберштамбамбрамсельфюрера... Он засмеялся невидимо, провалившись в какую-то лужицу ночи. — Линда, кормилица! — Видно, она подбежала, и ой сейчас, поджидая меня, чесал ее за ухом. — Семь пятьдесят съемочный день! — хвалясь, сказал он, оказавшись вдруг прямо передо мной: я в него уперся. — Все равно — барочная... — то ли с грустью, то ли с удовлетворением сказал он, глядя над моим плечом, и я обернулся.

Отсюда, сверху, снова предстала колокольня. Луна, красная огромная, как солнце, выползла из-за невидимой отсюда реки. Вокруг острого шпиля как-то склубился черно-розовый отсвет. Храм дотлевал последним углем в ночи.

Мы шли куда-то, я не обсуждал куда. Длинное хлевное тело густело впереди. При нашем приближении подвальное окошко зажглось и погасло.

— Трапезная... — сказал он.

Мы проникли, громыхая и спотыкаясь.

— Сейчас я включу... — сказал он, и все озарилось.

Это была, по всей видимости, реставрационная мастерская. Верстак, муфельная печь, стеллаж с банками... Голая лампочка под потолком. На стене кален дарь с Аллой Пугачевой и реклама автогонок. Огромный деревянный ларь. Такие же топорные и старинные лавки. Крошечные зарешеченные окошки из глубокой крепостной толщины стен слепо смотрели внутрь, будто щурясь, будто опухли со сна. Вдоль стен, как хлам, как рассыпанная колода, во множестве сложились иконы, оклады, иконостасы.

— Вас интересуют доски? — Я не понял, но глазами он указал на свалку икон.

— О да, конечно, — сказал я.

— Сейчас, Линдочка, сейчас... А вы смотрите пока, не стесняйтесь. Бережно отгibal я небрежно сваленные доски одну за другой. Трепет прикосновения был выше моего разумения.

Пейзажист хозяйничал. Вокруг вилась догня. Включил муфельную печь и поставил разогревать в нее банку консервов. Открыл ларь и залез в него с головой; на какой-то момент даже ноги его оторвались от пола. Лицо его покраснело, когда он вылез.

— Неужто увели!.. — Лицо его выражало нешуточную тревогу. И он снова исчез в ларе. Оттуда летела ветошь; пустые мятые оклады и консервные банки издавали об пол один и тот же звук... — О господи! — раздался вздох облегчения. — Надо же было так зарыть!

Он извлекся с бутылкой «Русской».

Я разделил его неподдельную радость, стоя с темным, еле различимым «Спасс» в руке.

— А кто же зарывал?

— А я! — счастливо сказал он.

Консервы в муфельной печи разогревались, однако не для Линды.

Не могу даже дать представления о том, как мне здесь с ним нравилось! И как было страшно... Надо же, чтобы так, ни с того ни с сего вывалиться из своей обыденности и серости в н а с т о я щ е е, в такую внезапную дыру... Табуретку накрыли газетой — уютнейше, с мужской дельной неспешностью и функциональностью был им накрыт наш пир: луковица, хлеб, тушенка... Засверкали два отмытых стакана. Плечистая бутылка встала как колоколенка.

— Я сразу вас заподозрил, — сказал он, разливая. — Вон из какой кучи вы тотчас самую ценную утянули...

Я по случайности держал в руке ту самую темную доску, на которой был застигнут обретенной наконец его заначкой. Однако не признался.

— А вы поставьте ее на стул, рассмотрите получше...

Так мы соображали на троих, Линда не в счет: Павел Петрович (так все-таки звали пейзажиста), я да потемневший наш Спаситель — ликом к нам, на отдельном стуле. Павел Петрович, может, по профессии не видел в этом кощунства, и я тогда не отмечал.

Павел Петрович не закусывал и скармливал Линде пропитанный соусом тушенки хлеб.

— Я ведь не из гордости сказал, что я не художник. Я совсем с другой целью. Я выхожу на контакт! Понимаете?..

Я еще или уже не совсем понимал.

— Я ищу свое место. То есть не свое в частности, это меня мало заботит. А — ч е л о в е к а! В пейзаже вы не найдете человека. Чем Шишкин все-таки хорош — кажется, ни одного человека не пририсовал.

— Мишек пририсовал... — вставлял я.

— Так это же конфеты! — безапелляционно рассудил Павел Петрович. — И мишек, кстати, не он пририсовал. Что ж, вы не знаете кто?.. И Айвазовский разок не удержался. Правда, тоже не сам... Но кого-то попросил себе Пушкина пририсовать...

— Репина, — сказал я, смело двинув свою пешку против его мишек.

— Вам бы кроссворды заполнять, — сказал он, ничуть не оказавшись задетым. — Да хоть бы кто! И — ничего у них не вышло! Как это замечательно! Стоит нестати, еще хуже, чем море, нарисованный, и скалится с цилиндром на отлете... А Пушкин-то, ласточка, теней... как он-то все это сделал в своей-то живописи! «Прощай, свободная стихия...» — и все, его уже нет, остался один жест, один взмах его руки. Гениальная мера вкуса и живописной точности! Я вот свой нос только вижу, когда рисую. Меня иногда тянет его пририсовать, когда не получилось. А — всегда не получилось... — Он отмахнулся от себя, как от мухи, испугал Линду. — Так я ведь его каждый раз не рисую!

— Нос?

Линда отошла от него и положила свою телячью голову мне на колено. Первый раз в жизни я имел дело с такой большой собакой. Что за страшная, но и приятная тяжесть лежала на моем колене! Она же пополам в секунду перекусит мою руку, которая ее гладит...

— Никогда не укусит, — сказал Павел Петрович. Я мог ему ничего не говорить, он явно читал мысли... — Ладно. Покинем прискорбные примеры. Возьмем что-нибудь, что постоит за себя. Вот Брейгель, «Икар», помните?

Я кивнул, хотя помнил не совсем.

— Не младший — старший... тут вы меня не подловите. Что у него от человека в пейзаже, пусть и от божественного?.. Пятка! Пятка у него от Икара! Ее и не заметишь...

— А как же пахарь? — Картину я с его помощью всю припомнил. — Пахарь там вовсе пашет, крупно!

— Пахарь! Сказал тоже — пахарь! Пахарь — естественно, пахарь — часть пейзажа. Он еще, обратите внимание, со спины, почти без лица. Личность его не важна — вот в чем дело. Поэтому он и вписывается, что он всего этого часть.

— Там еще и корабль — тоже не природа...

— Творение — уже природа! Он прекрасен, парусник. Хотя и менее уместен в картине, чем пахарь. Вот вы сами и наметили все точки: пахарь, судно и пятка Икара. Лучше всего паши; если уж нейдет — плавай, но не летай!

— Но это уже басня, а не живопись, — возражал я.

— В данном случае! В данном случае это и то и другое: живопись у Брейгеля, само собой, не подведет, а мышление — да, в данном случае литературное. Но тогда ведь так и писали — на сюжеты. Но живопись, однако, не забывали... И законы ее работали. Не может человек как личность, как черт-те что, как царь, видение лжи, природы уместиться в пейзаже.

— Представляете, какая но-о-о-очь! — Он провыл слово «ночь» так ужасно... — Какое непонятное бескорыстие есть в этом слепоглухонемом существовании! Ведь все, что есть, связано между собою, не ведая об этой связи. А мы в и д и м это — в единстве, которое никто из участников этого единства не ведаёт! Вы вышли на берег: плещет вода, песочек, камушки, лес отражается в воде, — вы знаете, что все это, конечно, не думает, как вы, но вы и представить себе не можете, до чего для себя отдельны камни и воды, для них нет целого! Они все в себе! Как те вещи у немцев. Но целое-то — есть! Вот в чем парадокс. Не вы его выдумали, и это нам не кажется, что все, что перед глазами, есть к а р т и н а. Значит, кто-то... Нет. Значит, она была... Нет. Как оно могло соединиться, разное, само? И про красоту — нам не кажется про красоту. Вовсе не удовлетворением наших жизненных потребностей вызвана наша эстетика. Я замерзал однажды зимой в тундре... Там ничто не годилось ни для какой жизни... Я погибал — в красоте. Так — кто-о-о-о же?! — И он опять ужасно провыл слово «кто».

— Если вы имеете в виду творца, — промямлил я, — то я совсем не против того...

— Ненавижу! — прорычал Павел Петрович.

— За что?.. Но я ведь тоже верю...

— Тоже... — повторил он ядовито, совсем меня изничтожив. — Да я не вас имею в виду. Вы добрый малый, хотя и много о себе думаете. Уж как я его не люблю!

— Кого же?

— Ч е л о в е к а! Именно того, с большой буквы... Венец творения. Всюду лезет, все его, все для него!.. Ну хуже любой твари. Хуже. Потому что вместо пятачка еще ковырлялки себе всякие, от ложки до атома, выдумывает. И жрет, жрет, жрет. А чтоб остановиться, а чтоб вокруг посмотреть, а чтоб заметить...

— Так, так, — кивал я. — Со всем согласен. Но если вы верите в творение...

— Другой гипотезы нет. — Павел Петрович замрачнел.

— ...то и человек — создание. Зачем же тогда?.. Венец творения — это, может, и сам про себя человек сказал, хотя книга, по всему, тоже не им писана... Но ведь даже — «по образу и подобию»...

— Ах, как вы все схватываете! — Похвала была сомнительной в его устах. — На лету. Прямо цивилизованный вы человек, вот вы кто!

Я ничего вроде и не выпил, но бутылка кончилась.

— Так вот, — произнес он, с удовлетворенной укоризной отметив ее совершенную пустоту, — и я вам тоже ставлю пять. Не знаю уж, где вы это подсмотрели, но самый сложный вопрос сумели задать... Вы и не представляете, сколько я над этим бьюсь. Но в пейзаже на все есть ответ, даже на то, для чего человек, но почему «по образу и подобию» — нет ответа.

Теперь он осматривал дно стакана, так и так поворачивая.

— А для чего, собственно, создан человек? Это тоже вопрос весьма живописный. Почему художников тоже зовут творцами? Конечно, преувеличение, лучше было, когда — мастер... Художника в полном смысле никак творцом не назовешь. Он в лучшем случае пересоздал, но не создал. Но и творец, хотя это его никак не исчерпывает, не есть ли величайший художник?.. «Вначале было Слово...» А собственно, и не слово, а логос, знание... Значит, образ мира существовал раньше мира, до акта творения? И это был не просто образ мира, даже божественный... Образ — был богом!.. Понимаете, с чем мы имеем дело? С художником. Всегда сначала образ, а потом картина. Это основа эстетики. Но картина ведь всегда для кого-то, для кого-то, кто способен понять или оценить. Ну, оценка наша, допустим, ему не важна. Он выше этого... А вот не верю, что не важна наша оценка! Не то, что мы похвалим, а то, что — поймем! Понимание, одиночество — в этом смысл творения, как и художественного создания. Чистым искусством, надо полагать, он не занимался. Да и никто, если вникнуть, не занимался. Это гордыня — искусство для искусства, унижение паче гордости... Все жаждут понимания, кто создает. А так, не понятно ли происхождение человека и зачем человек?? Видеть творение! Не только пользоваться им и составлять его, как и всякая божья тварь, но — видеть! То есть понять и постичь. Поэтому, надо полагать, и создал он нас «по образу и подобию»... Иначе этого не понять, зачем уж человека — «по образу и подобию», чего ради? Не может же творец боготворить сам себя, чтобы копировать венец творения с себя же?..

Он окончательно перевернул стакан как доказательство.

— А кто тот, для кого создается картина? Ну, обычная картина?..

— Народ, — сказал я, — люди... — уточнил я, и опять неточно.

— Заказчик! — вскричал Павел Петрович.

— Кто же у самого бога заказчик? — очень удивился я.

— А образ мира, который раньше мира? Но это я только предполагаю... Это не так, но... А ведь и заказчик раньше художника, а?

Он торжествовал, будто подсказывал ответ уже не мне, а самому богу.

Мне нечего было ему ответить. Я мог лишь кивнуть.

— Если бы я мог поставить так вопрос, — глубокомысленно сказал я, — то я бы поставил его именно так... — Про себя же я решал задачу: переводил крепость «Кавказа» в крепость «Русской», чтобы уточнить объем выпитого Павлом Петровичем в водочном эквиваленте. Я почти сосчитал, но не был уверен в последних пятидесяти граммах: 0,75 или 0,8 был «Кавказ»? Именно посреди этих пятидесяти граммов проходила в моих расчетах граница меньше литра или больше литра.

— Есть одна любопытнейшая гипотеза на этот счет... — мечтательно сказал Павел Петрович. — Даже не гипотеза, а миф, но боюсь, что нам его будет уже не потянуть.

Судя по тому, как я стремительно обиделся насчет своих умственных способностей, литр моим старшим другом был уже выпит...

— Вы не так меня поняли,—ласково читал мои мысли Павел Петрович.— Я не вас, а себя имел в виду... Собацьи-то деньги у меня все вышли...

Как я обрадовался повороту! Я просто не смел сам предложить... Но у меня — были, были! Хотя тоже немножко «собацьи», не то на туфельки ребенку, не то... уж не помню. Какая разница! Были, есть, будут!

— Только где вы сейчас возьмете?

— Это не беспокойтесь,—сказал Павел Петрович.—Этого хватит,—сказал он, забирая у меня пятерку. (Я вытащил их три, все, какие у меня были...) —Этого хватит —сказал он, забирая и вторую и внимательно и заботливо провожая взглядом третью, дабы я не опустил ее мимо кармана.

Он совсем не шагался, а как-то даже прочнее стоял на ногах и мягче, будто пол стал земляной... Он не спеша все прибрал. Не забыл и выключить муфельную печь, зря я беспокоился. «Спас нерукотворный» был прислонен назад к стенке, предварительно им поцелованный.

— А когда реставрируете...—я робел задать неточный вопрос,—вы тоже... вступаете... в контакт?..

— Конечно,—сказал он, именно в этот момент и прислоняя доску к стене.— Но это другое. Икона, какая бы ни была, даже нерукотворная, писана человеком, не то что само творение... Там я в контакте с творцом,—он сказал это так легко, как будто сел в трамвай или вошел в контору,—здесь —с верой человека, иногда истинной, иногда нет, иногда,—тут он задумался,—и со своей верой... —Порядок был восстановлен в том смысле, что следов не осталось. И мы прошли за ларь, в какую-то никуда не ведущую дверцу. Обреченный, человеческий вздох догини, оставленной нами, раздался за спиной, в новой темноте...

Мы погружались в средневековую глубь. Глубь была буквальной, каменной и тесной. Или мои плечи стали значительно шире и рост? Я царапал за стены плечами, пересчитывал некие невидимые балки головой. Взираясь по крутой лесенке, увидел я вдруг над собою звезду, свежий ночной воздух ворвался в мои подвальные легкие. Мы оказались на верху стены, окружавшей кремль. Стоя на ней, особенно можно было оценить ее толщину. Там мы стояли, подчеркнуто вдыхая и выдыхая. Это была граница. По одну сторону все молчало, слившись в ночи: постройки монастыря, невидимые, как бы сбились там в кучу, терлись пухло-белыми боками и дышали,—лишь острую колокольню еще можно было различить. По другую —убегали вдаль цепочки уличных фонарей, раздавался автомобильный гудок, стройно горели окна в громоздком порядке ближнего микрорайона... Глоток воздуха был как добрый стакан.

С этой площадки, обращаясь в никуда, просилось слово. Оно представлялось здесь Павлу Петровичу...

— И вот он его создал...—Павел Петрович посмотрел налево и стал смотреть направо: то был мрак монастыря и свет новостройки.— Он сотворил пейзаж и пририсовал человека... Ошибка Айвазовского!.. Знаете, что занятно: что, может, и тут человека не он пририсовал, а?

— Так кто же?—И я посмотрел направо и налево.

— Пока что секрет,—поблескивая в ночи лукавством, сказал Павел Петрович.—Моя тайна. Впрочем, догадка, намек... Вам я скажу. Но не сразу.

— Понимаю,—я не то сказал, не то кивнул. Скорее кивнул.

— То, что вы понимаете, неважно,—важно, что вы еще поймете,—сказал он несколько зловеще.—Сами рассудите... Мир был окончательно готов, когда в нем появился человек. Человек в нем ничего не создал. Он не сотворил пейзажа. То, что он сотворил,—он натворил, он испортил. Вы скажете, что телеграфные столбы, рельсы и аэропланы давно стали частью пейзажа... Именно что с т а л и! Зверь носит под кожей пулю — и ничего, живет, прихрамывая. Человек не сотворил пейзажа, но он не сотворил и пожарища. И пустыня и пепелище — опять творение не его рук, они лишь — на его месте. Не им посеян бурьян, не им наваяны барханы. Единство пейзажа, разрушенное им, лишь брешь для действия законов этого единства, не им основоположенных. Хирург режет, но кто затянет рану, свернет кровь, оставит рубец? Кто оставляет рубец на творении божьем? Вы скажете — человек и будете тысячу раз не правы. Человек наносит рану, а рубец — от бога. Человек!..—взвыл он.—Единственное слово, которое ничего не значит!

— То есть как? А что же тогда...

— Есть что-нибудь в этом мире, что может назвать себя?

— Да нет...—промямлил я.

— Вот наше слово! Данет... Чем не имя человеку? Зовет себя как-нибудь луна, сосна? Корова говорит: я корова? У них нет языка, скажете вы. А жизнь, бытие — разве не язык, разве не выражение? Нам дан язык слов, чтобы мы все назвали. Камень не скажет про себя, что он камень, а мы про него скажем. А кто же про нас скажет?.. Я — сказал Адам после грехопадения; ты — сказал Каин Авелю; он — сказал его потомок про другого потомка; он — это я, напомнил всем Христос... Ну где тут слово «человек»? Человек — это лишь местоимение: я, ты, он, они и, наконец, мы. А если он не местоимение, а человек, да еще с большой, этот венец творения, вершина эволюции, этот пуп земли, то он лишь фактор эрозии, коррозии, гниения, всяческого окисления... Стресс природы.

«А искусство?» — хотел было сказать я.

— А что искусство... — махнул он рукой. — И его не сотворил человек. Хотя это и единственно допустимая натяжка для называния его творцом или создателем хотя бы с маленькой буквы. И что оно доказывает? Что наивысшее создание рук человеческих почти не потребовало ма-

терии. Что там потрачено-то на холст, краску, бумагу и чернила? На это природы хватит с избытком. На порождение еще одной природы...

Грозен был Павел Петрович и красив. Будто на горе стоял.

— И вы знаете что? Знаете ли вы что? Что на творчество никакого не требуется даже и времени? Человек его не знает, когда создает... Когда — любит... — Он вздохнул. — Перед смертью он обнаружил, что все остальное время он разрушал, то есть по-реблял, то есть сам разрушался, вот и умер. Время! — взвыл он. — Кто ты? Может, ты — человек? Может, человек — это личинка такая, тля, моль пейзажа... личинка времени, куколка смерти?.. Как фараонов бинтовали? Не так ли, что они, как куколки, лежат? Пирамиды — памятники смерти... все попытки обес-смертить, вывести за скобки времени окажутся памятниками смерти. Страх — уже культ. Здесь все меня, видите ли, переживет, «все, даже ветхие скворешни...». Мы снисходительны к пейзажу, но лишь к такому, что смертен с нами, — вскорости и скворешня рассыплется, нас догоняя. Что нам не нравится, так это черви... Черви, господа, черви, господа, черви... — забормотал он. — Начинается... — мрачно сказал он.

— Что — начинается?

— Время, его мать! Водка кончается — оно начинается. Они перетекают. Там нет зазора. Это одна вещь. Время тоже течет. Язык, он все скажет. Пора вскрыть этот могильник...

Беззвучно и сильно прорвалась сквозь тучу луна каким-то прокисшим ломтем. Взор Павла Петровича вспыхнул ей на встречу сходным светом. Он был столь неожиданно весь пьян, как мертв. Последним, героическим усилием вытряхнулся он из своей летаргии, судорога пробежала по всему телу, сочленения разрозненные, расплавленные и сплывшиеся части.

— Пошли! — решительно сказал он и, словно под ним люк открылся, стал спускаться.

Крутые ступеньки, оказывается, перед ним были и вели в толщу стены. Вот уже одна голова осталась над, еще раз освещенная выдыхающейся луной: голова обернулась ко мне, общим контуром напоминая... черный мяч валялся, брошенный, на верху стены, голова Крестителя все никак не скатывалась с блюда... Голова звала за собой, и не было сил стронуться с места, не было сил не следовать за ним... В последний раз взглянул я окрест — одесную навечно спал монастырь, ошую дотлевал, объятый жизнью, город будущего, стекло и бетон, последняя головешка всемирного костра... Еще раз прыснула луна, и, угрожающе шевельнувшись, как ожившие мертвяки, пододвинулись монастырские строения... В последний раз повертел я оставшейся на воздухе головой и провалился в подземелье, сверкнула надо мной последняя звезда, словно это она упала...

— Осторожнее! — ласково прозвучал Павел Петрович. — Подайте руку... Да вот же рука! — Рука оказалась неожиданно живой, сильной и теплой. — Вот так. Сейчас придем.

Все уверенней двигались мы в этой катакомбе, что-то даже жизнеутверждающее, оптимистическое объявилось в нашем продвижении, будто впереди мог оказаться свет...

— Ну что такого неприятного в черве? — напутствовал меня голос, снова звучавший уверенно и трезво. — Паук чем не хорош? А не нравится человеку, неэстетичным кажется, особенно некрасиво ему именно то, что его переживет. Переживет даже не личность, а самого человека переживет, сам вид его переживет... вот он и морщится от напоминания: бурьян, пустошь, тараканы, мухи... Они ему опять и опять: тебя не будет, тебя не будет!.. Тьфу, заладили...

Тут я наткнулся на Павла Петровича, потому что тот в свою очередь уперся. Это был тупик. И темно же было! Я поднес растопыренную ладонь к глазам — и не видел.

— Пришли! — Даже голос его повеселел.

«Кончатся он, что ли, меня будет?» — столь же весело подумал я и потрогал заодно свой бесполезный глаз. Самостоятельной жизнью дернулись под рукой реснички; я совсем не испугался, но нежность к своему замкнутому, самостоятельному существованию сладострастной волной пробежала по спине... Павел Петрович пнул в преграду, и она отозвалась радостно и гулко.

— Семе-е-ен! Семи-он! — кричал он, барабана.

Это была дверь. Куда она могла вести еще?

— Се-е-час! — наконец недоброжелательно донеслось оттуда.

Мне послышался облегченный вздох Павла Петровича: слава богу...

— Кто там? — Голос мой прозвучал испуганно, что меня удивило и задело.

— О, это... — Павел Петрович переминался нетерпеливо. — Великий человек... Не нам чета... Мудрец!

— А кто он? — настаивал я.

— Семен-то?.. Да так. Отшельник.

— Ну!.. — Я балдел от происходящего. — Он Семен или Семион?

— Точно не знаю. Сейчас спросим. — И Павел Петрович заколотил по двери снова, и словно под ней все это время стояли... залязгал засов, брякнул крюк, визгнула жесть, острое лезвие света резануло из щели...

Ослепительно светила пятнадцатисвечовая лампочка. Семион был высокий, на грубых шарнирах мужик, длинное молчаливое его лицо выходило за рамку: то челюсть, то лоб; он был в измазанном фартуке и пах краской. Павел Петрович повлек его, молчаливого, вглубь под локоток, оставив меня озиаться. Погреб был долог, тот его конец тонул в темноте. Посреди в два ряда были вмазаны в цемент огромные бочки, накрытые тяжкими крышками. Сложный и могучий дух кислоты и соленой сырости (будто тут умерло море) не вязался с запахом краски, оставшимся от Семиона. Они прошли еще в одну дверцу, откуда вспыхнул и впрямь яркий свет; Семион, ярко освещенный, взглянул через

плечо на меня, будто проверяя что-то из нашептанного ему Павлом Петровичем, и они оба там скрылись.

Долго стоял я, про меня забыли. А может, бросили?.. Наконец я рискнул заглянуть... Они обернулись с подозрительно трезвыми лицами, как застигнутые. В руках у Павла Петровича была икона необыкновенно свежая и яркая, он ее как бы повертывал и так и этак; руки же у Семиона были заняты иначе: в правой — кисточка, в левой посвистывали пол-литра. На верстачке под сильной лампой в рабочем беспорядке толпились тюбики и бутылочки, и вся комнатка была величиной с бочку, которую мы всю и заполнили. На единственном стуле отдельно стояла еще одна икона, оказавшаяся тем же самым «Спасом», с которым мы выпивали. Как она сюда попала? Я не заметил, чтобы Павел Петрович что-нибудь нес в руках...

— Узнаете? — спросил он.

Я кивнул. Но оказалось, не про то он спросил.

— Кирилл и Мефодий, — сказал он, обращая ко мне свежую икону.

— Этот Кирилл? — растерянно указал я.

— Угадали, — усмехнулся Павел Петрович.

Я хотел было спросить Семиона, как так получилось, что и он реставратор, но Семион, прихватив два стакана, кивком позвал нас за бою.

Я уже не удивлялся, замороженный. Семион поставил бутылку и стаканы на бочку и, подналегши, сдвинул крышку с соседней; ниоткуда взялся в его руке ковшичек-черпачок, которым он из бочки и черпнул. Не что иное, как соленые огурцы заплескались в ковшичке, как рыбки. Он выплеснул ковшичек на крышку; живописной кучкой насыпались они, лоснясь.

— Патефончиков бы... — сладостно сказал Павел Петрович.

— Кончились. — Это было первое слово, услышанное мною от Семиона.

— Ну, с доньшка?.. (Семион молчал, так же клоня набок голову и будто меня разглядывая.) Я сам полезу... — умолял Павел Петрович.

Семион нехотя согласился, и Павел Петрович направился к третьей бочке; крышка на ней была откинута, и, свесившись в нее, он стал шарить в ней ковшиком, как недавно в ларе, будто и в бочке была еще бутылка...

— За ноги поддержи, — донеслось из бочки.

Семион не шевельнулся, и это был я, кто стал держать его за ноги.

— Тяни! — наконец крикнул он в гулко отозвавшуюся бочку. И вот он стоял, красный от прилива крови и победный, держа в руках два патиссона. С рук его капал рассол.

— Где мы? — наконец осмелился я.

— А я вам разве не сказал? — удивился Павел Петрович. — Да ведь ясно где! Вы что, никогда не бывали на засолочной базе?

Что-то страшное вроде улыбки осветило мрачное лицо мудрого Семиона, и я понял, кого и что все это мне напоминало. «Три мушкетера». Лилльский палац! Этот привет от любимого писателя тронул мое сердце, и не стало предела моему восхищению...

— А Семион? — любезно спросил я, принимая от него второй стакан.

Семион с зубовным скрежетом заиграл желваками и отвел взгляд.

— Он не по этой части, — сказал Павел Петрович, разливая. — Он выше этого...

Мы чокнулись. Я подобоострастно поднял стакан, приветствуя нашего гостеприимного хозяина. Он еще поиграл желваками и ничего не сказал.

За что он меня так презирал? Когда я заранее, через Павла Петровича был к нему преисполнен. Мне было обидно.

Сначала даже плохо пошло, хоть и под патиссончик, а потом хорошо. Не заметил, куда делся Семион. Ну да, раз уж он был не по этой части... Я все хотел спросить, по какой же, да все и забывал. Павел Петрович все говорил, и мысль его не ослабевала.

— Еще почему вряд ли я художник... Я все постичь хочу, а не изобразить. Художник не должен особенно думать. У него глаза и руки думают, голова молчит. Словами он, во всяком случае, думать не должен. А для меня то не мысль, что не в слове. Художник мыслит образами... Слыхали такое? Какая же эт мысль? Это наскальная мнсль. Вот кто, кстати, зверя-то нарисовал! Питекантроп!

— Кроманьонец, — сказал я.

— Ну да, вот он. Все настоящие художники — кроманьонцы. Они потому и любят блузы и длинные волосы... чтобы хвост прикрыть. У них и в лицах — замечали? — сплошь такая узко- и крутолобость, глаза глубоко в глазницах. Еще больше — у скульпторов. Те еще пещернее. На пару сотен тысяч лет. У них щетина на ушах, на плечах, на спине. Непременно! Волосатый человек Евтихийев, вы его не застали уже... в старом учебнике естествознания... с детства казался мне скульптором. Потому они и любят голеньких ваять, что те, как люди у них, без шерсти... Не люблю я их, признаться. Вы думаете, я из зависти? Мол, неудачник...

Я хотел было сказать, что так не думаю, но, к удивлению своему, услышал лишь собственное мычание. Павел Петрович меня понял по-своему и разлил по новой.

— Ни на что я не променяю мысль! Даже на их гений... Хотя мысль, — горько сказал он, — смертельна!

Я хотел спросить почему, но не мог.

— Сейчас я вам скажу почему, — сказал он, зажевывая огурцом. — Это великая мысль. Мы рождаемся не в беспредельном мире, не так ли? Мы его постепенно познаем. Спеленатые, мы шарим глазенками и видим мать. Она весь мир. Потом мир становится размером с комнату,

с дом, с улицу. Потом мы убеждаемся в том, что никогда не дойдем до его края... Потом нам объясняют про шар, про материки и страны, про Солнечную систему, про галактику, про космос... И преподав нам то, что мы не в силах вообразить, обучат нас подменять представления словами, убедят нас не столько в беспредельности мира, сколько в беспредельности якобы наших возможностей познания. Мол, мы не все еще поняли и знаем, но теперь знаем больше, чем раньше, а потом станем знать еще больше, а потом однажды едва ли не все будем знать... И человек со способностью мыслить начинает рваться этой своей способностью все вперед, все дальше, и это почище наркотика, я вам скажу. Из наркотика-то можно не выйти, а там и остаться, не то что из мысли... Как Семион... (Я посмотрел в сторону, в которую он кивнул и где Семиона не было.) Бывший десантник... Там и остался, где его высадили... Там и начал колотиться. Как говорят, сел на иглу. Ему теперь ничего не надо... А нам объясняют, что для жизни нужны кислород, вода, пища, и это тоже будет правда, потому что так оно и есть... объясняют, что жизнь на Земле — это редчайшее чудо, потому что сочетание условий, при которых она возможна, уникально и неповторимо в космосе, что диапазон жизни феноменально узок, что мы погибнем тотчас, как нам не хватит градуса тепла, глотка воздуха или воды... И это опять правда. И только сознание наше, видите ли, всемогуще и беспредельно, как мир... Не улавливаете несоответствия? Нет еще? Поясняю. То, в чем мы живем, то, что мы видим, воспринимаем и постигаем, то, что мы называем реальностью, — тоже диапазон, за пределами которого мы так же гибнем, как замерзаем или задыхаемся. Мы думаем, что реальность наша беспредельна, только, видите ли, мы ее еще пока не всю познали; на самом же деле наша реальность — тот же диапазон, отнюдь не шире того, что мы слышим или видим. Мы живы лишь в этом диапазоне. И мы живем лишь в нем, мы живем совсем не в реальности, а лишь в слое реальности, которая, по сути, если бы мы были способны вообразить реальные соотношения, не толще живописного слоя. Вот в этом масляном слое мы и живем, на котором нас нарисовали. И живопись эта прекрасна, ибо какой художник ее написал! Какой Художник! Леонардо с ним несравним, как... как... И сравнение-то с ним — несравнимо! Для нас он нарисовал жизнь, устройство которой мы понемногу разбираем, разбираем еще и в буквальном смысле... «Так по камешку, по кирпичику растащили мы этот завод...» Мы копошимся, ползая по слою, и все думаем, что проникаем вглубь, не в силах понять, что там, в глуби, совсем уже не наша реальность, нам не отпущенная, отнюдь не данная нам в ощущениях... что устройство нашей жизни имеет еще свое устройство, отнюдь не внутри нашей жизни расположенное. Не в яблочке заключен закон Ньютона и не в ванне — Архимеда. В слое нарисованной для нас жизни есть устройство, являющееся в свою очередь слоем реальности, у которой в свою очередь найдется устройство, помещенное не в нем, а еще в одном, нескольких, не знаю скольких еще слоях, но опять ничего нам,

даже если бы мы туда проникли, не объясняющих. Не было такой задачи, чтобы мы поняли, была задача, чтобы мы жили! Она и была прекрасно — господи, как прекрасно! — в о п л о щ е н а. В воплощении и плоскость есть, не только плоть... Теперь — мыслящий человек, теперь — художник... Художник не понимает, а отражает, поэтому это прекрасно, что отразиться в нем может лишь то, что было уже прекрасно. Но если он при этом еще и постигает, видите ли, то, полагая, что идет вглубь, он идет поперек слоя, а слой-то узок, не толще масла, а что за ним?.. За ним грунт, за ним холст, основа, а за ним — пропасть, дыра, рваные края, а там — пыль, темнота, стена с гвоздем и веревкой, чтобы повеситься, бездарная подпись с бессмысленным названием... Про живопись никто не знает, кроме живописцев, но, поверьте мне, истинный талант в живописи никогда дальше немой догадки, что за краской есть что-то, не пойдет, а мыслящий дурак пойдет. Там, там они все — Леонардо, Эль Греко, и Гойя, и Ван Гог... все они вышли за диапазон, за пределы изображения и ничего, кроме безумия, за этими пределами не обрели... Сезанн... — И опять его перевернуло как от зубной боли.

— Что же все-таки Сезанн? — вдруг отчетливо сказал я, удивившись металлическому своему голосу.

— А что Сезанн? Ничего себе Сезанн. Никогда нормальным человеком и не был. Вы все равно ничего не можете понять в живописи. Так что и не будем. Возьмем художника слова... Кто был наиболее близок к живописи в слове?

— Гоголь. — Тут я не сомневался.

— Правильно. А в живописи ничего не понимал... Ну и что с ним дальше-то было? Ясно? То же самое. Он истощил слой реальности, опущенный ему господом для отображения, двинулся поперек слоя и вышел за пределы изображения. Там начинается другое — там вера. Да какая же вера у кроманьонца, когда он поклонялся тому, что видел? Там, где вера, там уже нет художника. Художник не может этого понять, потому что он еще и наркоман, потому что искусство не только образ, но и способ жизни... Нам, не гениям, все что-то мешает стать гениями: лень, косность, общество, грехи... — и мы никак не можем допустить, что это инстинкт, страх гибели и жажда жизни нам мешают. Мы подсознательно боимся вывалиться из слоя реальности, мы хотим остаться живы. Но мы этого не поймем, потому что никогда не согласимся с тем, что мы не гении. Нам помешали, и только. Кризис художника — это не обстоятельства. Они всегда тут как тут, чтобы свернуть с дороги. Кризис в том, что ты подошел к краю слоя, в котором только и может осуществляться изображение, и теперь хочешь окрасить невидимые предметы в видимые цвета. И ничьи советы и рецепты не помогут, никакая схема, никакой подвиг: все легче, чем продолжать писать жизнь, только что казавшуюся живой и изображимой, да и бывшую живой, а для кого-то так и оставшуюся навсегда живой, потому что он и не претендовал. Легче не пить, не курить, воздержаться от баб, легче все то, от чего не в силах

отказаться другие люди, чем написать с л е д у ю щ е е за тем, что уже изображено. Он нам нарисовал пейзаж и нас нарисовал в нем, но не нам понять, как он это сумел сделать. Гений движется с космической скоростью в своем постижении и прорывает изображение. Искренность его недоумения и отчаяния равняется лишь постигнувшей его слепоте или немоте. Догадка об устройстве мира если не сведет с ума, то лишит дара любой речи. Судьба гения — это космическая катастрофа не в том смысле, что нам его в таких масштабах жаль или что это на нас космически же отразится, не в том смысле, что бы он нам еще преподнес хорошего, кабы не сгорел в более плотных слоях, а в том, что у них общая с космосом природа. Все они взорвались и рассеялись пылью, как вот-вот рванет наш шарик. Человечество приблизилось к того же масштаба катастрофе, какую пережил каждый гений. Только художник вываливался сквозь холст, а эти за саму раму, люди истощают пейзаж по самой поверхности слоя. Нам было сделано все, чтобы мы жили и прожили. Ни более и не далее. Далее — смерть. Сначала смерть того, что мы прожили, потом и нас самих. Всего было столько, сколько надо. Значит, не больше, чем надо. Не так много. Столько. Запаса обольщения в том числе. Господи, когда же они поймут, что кончилось — это кончилось? Нету больше. Не-ту! Откуда я вам возьму, когда нету! — кричал на меня Павел Петрович. — Богом сосчитано до одного. Дальше — ревизор. К нам едет ревизор! А ревизор-то — дьявол.

Мощность этой идеи окончательно сразила меня, хотя надо сказать, что и бутылку мы прикончили.

— В дьявола я не верю, — вдруг воспротивился я.

— То есть как?! — воскликнули Павел Петрович с неведомо откуда слетевшим к нам Семионом.

— То есть в творца, в Христа... — залепетал я, зажатый двумя мудрецами. — Верю как в реальность, что они были... есть... а что дьявол так же есть, как они, — нет.

— Он не верит... — испуганно прошептал Семион Павлу Петровичу. — Во что же он тогда верит??

— Слушай его, слушай, — сказал Павел Петрович.

— Да ведь весь воздух кишит!.. — И Семион, как всполошенный петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь пространство. Я отшатнулся, Павел Петрович предательски согласно кивал.

— Чем кишит? — разозлился я.

— Невидимыми существами! — И он заозирался будто в страхе.

— И в тот свет — не верю! — уперся я.

— То есть как?! — Семион, казалось, лишился дара речи.

Павел Петрович не без интереса на нас поглядывал.

— А так, — сказал я зло.

— Так ведь раз есть свет этот, — сказал Семион голосом вдруг мягким и крадчивым, — так есть и тот...

— Слушай его, слушай, — с удовольствием поддержал Павел Петрович.

— Как магнит не разрубишь пополам, — сказал Семион.

— Как свет и тьма! — воскликнул Павел Петрович.

— Как жизнь и смерть! — заиграл желваками Семион.

Будто они меня приговорили и сейчас пришла пора моего заклания... Я плохо соображал, мне показалось, что они заговорили на каком-то умершем, пещерном языке. Слова их все висели в воздухе всей речью, как невидимый, прозрачный лист, как такое стекло между ними и мной, по которому стекает ливень, утолщая его, прозрачный, тягучий и волокнистый... То лицо Семиона свирепело от ласки, то лицо Павла Петровича одухотворялось и сатанело, будто и по нему катились эти плачущие струи, как по стеклу, то лик его вдруг становился ничтожным, растворялся и размывался в этом потоке, проявляя вздернутость и вздорность антипрофиля императора Павла... Тогда тусклеющие его глазки особенно наливались умом, как безумием, и Семиона снова как не было...

— Ты кто? — спрашивал я Павла Петровича.

Кто он?..

— Ни одного более носорога! Почему с появлением человека не появилось ни одного более вида? И если дрожь омерзения пробирает нас от какого-то паука или гада, что был до нас и нас переживет, то какими глазами сама природа смотрит на нас, какая дрожь пробегает по ее коже? Представляете этот взгляд? На нас?

Я восхищался его умом, я был им переполнен и подавлен, хотя и вода плескалась во мне через край. И вот почему я еще стоял на ногах... Сколько бы он ни возносился, сколько бы он еще ни говорил, ни он, ни я не могли изменить нашего исходного положения: он выступал, а я слушал, и как бы я ни молчал, хотя бы потому, что ничего вровень ему и сказать-то не мог, я тоже выступал и не мог отступить от роли, как от верховности положения: я выступал оценщиком, конечной инстанцией, ОТК его идей, бравощиком его истин, — так или иначе, я был тем, ради кого он говорил... Что-то с ним когда-то случилось непоправимое, чего-то он не скушал, не переварил, не простил чему-то такому, чему принадлежал без остатка и любил без памяти, ревность пылала во всем... Что это было, чего он не снес? Культура, искусство, сама жизнь? Или сам бог?

— В творении не предусмотрены наши блага, блага — это дело наших рук! — Голос Павла Петровича звучал отчаянно, словно он уже не догонял мысль, а убегал от нее и она его нагоняла. — Было предусмотрено столько, чтобы мы успели выполнить назначение, — любовь, смерть. Это конец программы. А мы-то полагаем, что наше познание только начинается, когда мы покидаем свою программу... Но ни жадности, ни аппетита, ни чувственности, ни тщеславия не хватит познающему, потому

что знания, как и бога, неизмеримо больше, чем нас. Ни Екклесиасту, ни Фаусту...

Сквозь эти имена проступил Павел Петрович, будто ливень кончился или растворил в себе стекло. Я вдруг увидел, где мы. Тусклый свет, осклизлые, серые стены, помойный цементный тол; в бочке плавал последний огромный огурец, не помещавшийся в чане, высовывающийся любопытствующим тупым концом наподобие крокодильчика. Одно мне стало окончательно ясно: что там мы и находились, где стояли, и речь его не представлялась мне больше никаким преувеличением. С той стороны слоя мы и были, о которой он говорил. С сомнением, что это было когда-то, мог я припомнить пейзаж нашего знакомства. Правда была здесь, а не там; правда, то есть реальность, был вот этот огурец. Безумие — это не то, что мы можем себе вообразить и испугаться, безумие — это когда уже там, а не здесь. Мы были по ту сторону, и нам улыбался Семион, потому что то, что исказило его лицо, было улыбкой. Он протягивал мне кованый ключ от храма.

— Опять забудете, — говорил он ласково.

Потому что мы, оказывается, собирались.

— Ну ты наробился! — восхищенно сказал Павел Петрович трезвейшему, на мой взгляд, Семиону. — Дал бы дернуть...

С той же устрашающей и подкупающей маской любезности Семион вынул из-за уха непомерно длинную папиросу и протянул Павлу Петровичу.

Я направился к двери, в которую мы вошли, представляя себе то же карабкание в стене и там долгожданный глоток воздуха и неба... оказалось, не туда я пошел. Мы вышли совсем через другую дверь, и никуда не надо было карабкаться — очутились прямо на улице по ту сторону кремля.

— Мы сейчас пойдем в одно место, — сказал Павел Петрович.

— Куда уж... ведь ночь... — Это не я — моя плоть боялась: я весь состоял из водки, она прозрачно дрожала во мне.

— Там нас очень ждут. — Павел Петрович был безапелляционен, однако находился как бы в некотором раздумье, куда идти, направо или налево, и что-то про себя взвешивал и решал.

Мы стояли под единственным фонарем, дорога, изогнувшись вокруг фонаря, уходила вниз, зарываясь в сомкнутые деревья. В раздумье же Павел Петрович достал, теперь из-за своего уха, Семионову папиросу, покрутил и понюхал. Он понюхал — я ощутил, до чего же сладко здесь настоялась ночь: общий запах асфальта, листвы, травы и тумана, остывая, излучал тепло. Воровато курнув себе в рукав, Павел Петрович передал папиросу мне. Я затанулся, и мы пошли.

То есть это мне так показалось, что мы пошли. Потому что и фонарь почему-то пошел с нами, и дорога повлеклась, как эскалатор... Павел Петрович, конечно, говорил, но я уже не улавливал, то и дело выпадая из его речи в соседнюю темноту улицы, он меня бережно поддер-

живал под локоток, снова вводя в русло, освещенное все тем же фонарем...

— Многоэтажный человек... — говорил он. — Он и обезьяна, и питекантроп, и каменный, и бронзовый, и золотой, и язычник, и ранний христианин, и атеист, десятый век соседствует с первым, а первый с двадцатым, он в галстук и набедренной повязке, с пращой и автоматом, рабочладелец, смерд, буржуа и пролетарий, грек, монгол и русский — все это одновременно, все это сейчас, не говоря уж о том, что он и женщина и мужчина... Мы судим по верхнему этажу, который он надстроил уже в наше время, но мы не знаем, какой из этажей реально заселен в нашем соседе: может, это монгольский сотник пятнадцатого века в «Жигулях», а может, слушатель платоновской академии в джинсах... Мы все из кожи вон уподобляемся друг другу, настаивая как раз на несущественных отличиях как на индивидуальности... и никто нам не подскажет, кто мы. Что ты скажешь про возраст дерева?.. Нет, не надо его пилить, чтобы считать кольца! — перебил он меня. — Что за варварство! Каждая клеточка дерева — разного возраста. Не старше ли нижняя ветвь верхней? А не моложе ли свежий лист нижней ветви старого листа верхней?..

Я не знал. Я стоял в замешательстве перед бурным потоком, внезапно преградившим путь. Павел Петрович заботливо помог мне перешагнуть его, ибо это была лишь жалкая струйка из протекавшей в муфте водопроводной трубы. Он развивал теперь передо мной в противовес теории слоя, в которую я уже веровал, некую теорию фрагментарности жизни и был крайне сердит на создателя.

— Подумаешь, понастроил! Без плана и контроля, как получилось и из того, что под руку попадалось... Это мы населяем, мученики, все логикой и стройностью, которая нам не дается, за что себя же и виним. А это самый обыкновенный курятник, только очень вычурный, с пристройками, лесенками и надстройками, выданный нам за совершенное здание, благо мы другого не видели. По кусочкам — и в кучу! А все — отдельно, все отдельно! — вскричал он. — Не завершено, недомалевано, сшито на живую... Стоп! — ликовал он. — Вот что живо, вот что грандиозно, вот что велико и божественно — нитка! Нитка-то — живая! Она-то и есть присутствие бога в творении! Как я раньше не подумал! — Павел Петрович плакал, по-детски растирая слезы по лицу.

— Ты что? Ты что?.. — умолял его я. — Что с тобой? — спрашивал я, еле сам сдерживая слезы.

— Бога жаль! — сказал он и, круто, по-мужски смахнув предательскую слезу, заиграл желваками, как Семион.

— Ну уж, — опешил я, — чем мы можем ему помочь?

— Именно мы и должны! — убежденно сказал Павел Петрович. — Он же верит в нас! Это не мы в него, а он в нас верит. Ты думаешь, ему легко? Взгляни на нас!.. Вот что тут... — И он опять запла-

кал.— Нет, ты не знаешь! Ты не знаешь! — причитал он. — Ведь он сирота!

— Семион?..

— Бог — сирота, болван! Он — отец единственного сына, и того отдал нам на растерзание. Каково ему, от вечности лишенному родительской заботы, той же участи подвергнуть дитя свое единокровное!

Чего не ожидал, того не ожидал! Хмель вылетел у меня из головы. Во всяком случае, фонарь наконец отцепился от меня и отстал. Тьма вокруг густела.

— Разъясняю, — доносился Павел Петрович из темноты. — Сначала тебе вопрос. Адам был создан по образу и подобию... Можно ли считать его сыном бога?

Шея как-то свободно болталась у меня в воротничке, почему-то показалось, что мне ее сейчас с легкостью свернут в темноте невидимой громадной рукою, тянущейся с неба.

— А вот нельзя! — ликовал Павел Петрович. — Потому что он сотворен, а не рожден! А Иисус — рожден! Иисус — сын. Я об этом еретическую книжку одну читал, не помню автора... Творением мы можем быть удовлетворены, даже горды, но это чувство еще любовью не назывешь, любить собственное творение может лишь дилетант, а не истинный творец. Творение любить нельзя, а сына — нельзя не любить. Творение может не удовлетворять, но вряд ли в нем можно что-то исправить: сотворенное, оно не принадлежит создателю. Ты перечитываешь свои книги, ты можешь поправить хотя бы опечатку во всех экземплярах? Я люблю свои пейзажи?.. Такова реальная возможность любить свое создание и поправлять в нем. Творец не может войти в контакт с творением, когда оно закончено, как бы оно ни огорчало его. Он может его лишь уничтожить. Но оно ведь живое! Единственный способ находит господь — отделить себя от себя, послать другого себя, сына своего... Он отдает нам единственное и самое дорогое, чтобы тот доделал то, чего не мог он сделать сам. Учти еще и то, что не только Иисус — человек, но и создатель, не нисходя к нам, становится человеком, ибо он отец человека Иисуса и этим он приносит еще одну жертву, обожествив творение, усыновив его. И тогда мы, бывшие лишь созданием, подобным ему и сыну его, становимся и детьми его, ибо его сын — наш брат по матери и по крови. Но став братьями Иисусу, не старше ли мы Иисуса? Адам старше Иисуса во времени, и, как дети его — Каин старше Авеля и Каин убивает Авеля, — не Каином ли стало Адамово человечество, распав божьего сына, а своего брата?

Мы вышли на свет следующего фонаря, я еще покрутил шейю, и тут нас разглядело возмездие. И не надо было крутить шейю — оно последовало не сверху, хотя, возможно, и свыше.

Из оставшейся за спиной темноты нас нагнал и круто тормознул воронки. Два милиционера проворно выскочили из кабины, и один уже

крепко сжимал мне руку повыше локтя, а второй, проскочив мимо, грузно шуршал в кустах, как лось.

Я оглянулся — милиционер смело заломил мне руку за спину; я ойкнул.

— Полегче, — сказал милиционер.

— Это вы полегче, — сказал я.

— Ты у меня! — сказал он.

— Я у тебя не убегаю и не сопротивляюсь, — сказал я.

— Это точно, — сказал он, — куда ты... денешься.

И он улыбнулся открытой, детской улыбкой. Был он сам мелковат, а зубы были замечательные и крупные. «А ведь я мог бы с ним справиться», — подумал я, сжимая в свободной руке ключ от храма. Бог меня спас, я мог бы и убить таким ключом...

— Ключик-то отдай мне, — сказал он тогда.

Я отдал.

— Ну и ключик! — восхитился он. — Откуда такой?

— От квартиры, — не удержался я.

Милиционер, к счастью, не обиделся, а засмеялся, довольный.

— Скажешь... — сказал он утвердительно и удовлетворенно.

— Да отпусти ты руку, не убегу, — сказал я.

— Прописан? — спросил он.

— Прописан, — сказал я.

— В Москве?

— В Москве.

— Где?

Я назвал.

— Далеко же ты забрался. Как добираться-то будешь?

— На такси.

— У тебя что, и деньги есть? — искренне удивился он. — Не все разве пропил?

— На такси осталось.

— Покажи прописку.

— Да не ношу я с собой паспорт! — Это меня всегда бесило.

— И зря, — сказал он, но руку отпустил.

Этот милиционер был ничего. Другой был хуже. Он вылез, запыхавшийся, из противоположных кустов: как он перепорхнул?

— Ушел, гад! — сказал он.

Что Павел Петрович сбежал, вызвало во мне смешанное чувство: с одной стороны, я был, конечно, за него рад; с другой — он меня этим очень удивил, такой своей способностью; с третьей... «Адам, Каин, Авель...» — думал я и усмехался без горечи.

— Взгляни, — сказал мой, протягивая ключ коллеге.

— М-да, — протянул тот. — Откуда такой?

— Не говорит, — доложил мой, — и паспорта нет.

— Так, ясно, — сказал тот, — без прописки, значит.

Я было вскипел, но мой поддержал:
— Говорит, что прописан в Аптекарском переулке.
— Где это?
— У трех вокзалов,— сказал я.
— Ну, у трех вокзалов вы все прописаны...— засмеялись они вдвоем.— А друг твой что, тоже там прописан?

— Да не друг он мне...
— Что, впервые видишь?
— Впервые вижу.
— Чего же в обнимку шли?
— По дороге было.
— На три вокзала?
— Да нет, до трассы. Я тут заблудился, а он сказал, что покажет.
— А ведь не простачок, а?— поощрительно кивнул тот моему.
— Это да,— согласился мой.
— Заблудился, видишь ли. А где ты заблудился-то, хоть знаешь?
Вот это был вопрос! Это он меня взял. Этого я совершенно не знал, где я.

— Откуда хоть идешь, скажи,— подсказал мне мой, словно и впрямь был на моей стороне.

— Из монастыря.
— Из монастыря?! А что ты там делал?
— Причащался.
— Все ясно,— сказал тот.— Что мы стоим? Поехали.

...Можете мне не поверить, но меня в конце концов отпустили. Не ожидал я от них, но еще меньше ожидал от себя.

Проснулся я, сидя на обычном канцелярском стуле, в помещении, до странности не напоминавшем камеру. Это был такой загончик, в котором содержат некрупных животных вроде кроликов или в крайнем случае лисиц... Сквозь проволочную стенку, отделявшую меня от дежурки, видел я мирного милиционера, дремавшего на посту. А вот обок со мной помещался на таком же стуле человек, которого никак нельзя было бы здесь ожидать: солидник. Он был в драгоценном на вид пальто с бобровым, как мне показалось, воротником; в каракулевом пирожке, оттенявшем благороднейший бобрик седых волос; в тонких золотых очках, свирепо посверкивающих... и он спал, оперев выбритейший массивный подбородок на набалдашник (слоновой кости!) столь же массивной трости.

— Проснулся?— услышал я добрый голос милиционера.— Выходи. И он отпер сетчатую дверь в нашей клетке.

— Выходи, не бойся, мы ничего против тебя не имеем... (В жизни со мной так не разговаривали!) Как раз майор пришел, сейчас тебя отпустим... Сиди, сиди. Тебя не касается!— грозно прикрикнул он на шевельнувшегося за мной сановного соседа.— Ты у меня еще поси-

дишь! — Два «и» в последнем слове прозвучали у него тоненько, как у комарика.

Образцовый и показательный, выпорхнул я из камеры, как птичка, осуждающе посмотрев на моего, теперь уже бывшего, коллегу... Протрезвел я, конечно, сам удивляюсь как. Правда, разило от меня!.. Майор, чисто выбритый, образцовый, со спортивным румянцем на подтянутых скулах и университетским ромбиком в петлице, брезгливо попросил меня не подходить к нему и говорить на расстоянии. Все-то я ему сумел объяснить... За что я люблю кино, так это за то, чтобы в милиции сказать, что я в нем работаю. Тут, конечно, начинаются вопросы, на которые я могу ответить, то есть вопросы, переходящие в разговор, переходящий в беседу. Не то чтобы майор видел хоть одну из снятых по моим сценариям картин, но удостоверение-то, хоть и не паспорт, у меня было. И адрес мой подтвердился, и ФИО. И не дрался я, не пел, не матерился, не оказал сопротивления. И в монастыре, как оказалось, был я в гостях у друзей-художников, а художники, известное дело, сами понимаете... И запах у меня такой, просто несчастье мое — пищеварение такое или печень: выпьешь на грош, разишь на рубль.

— Что ж вы здоровье-то не бережете, раз так? — напутствует майор.

— Да не могу сказать, чтобы часто злоупотреблял-то, — сокрушаюсь я на голубом глазу.

— Что ж они вас не проводили-то?

— Да набрались, как поросята, — осуждающе говорю я, — я-то не вровень с ними пил.

Ключ же, оказалось, я нашел в деревне (отдельно разговор о деревне — где, в какой области, оказались почти земляки...), ржавый-ржавый; вот ребята мне его и отреставрировали, я его на стенку повешу.

— Вот ключик-то у нас и оставьте... А Голсуорси, что обещали попробовать достать (уж больно жена им увлекается), когда достанете, зайдете к нам, я вам и верну...

И телефончик даже записал, выдернув листок из прошедших дней календаря.

И я настолько воспрял, что даже спросил, что натворил мой вельможный сокамерник.

— И не спрашивайте! — презрительно отмахнулся майор.

А было уже утро, и не самое даже раннее. Солнце грело. Небо синее. Господи! Какое же это счастье! Выйти из КПЗ, выйти сухим, выйти на воздух, на свободу, да еще и погода! Чувствовал себя даже молодо и свежо, будто не зашел вчера за литр, а возвращаюсь себе с утреннего бассейна или корта. Не то что вспоминать — подумать во вчерашнюю сторону омерзительно и страшно. Чем я жив, отчего единственно все еще считаю себя не конченным, так это ханжеством. Я ведь как их сумел убедить? Да только сам во все поверив. И вышел я оттуда с полным ощущением, что справедливость торжествует и, что особенно характер-

но, что именно в моем случае. И тот, с тростью, убедительно подтвердил это...

И только отделение скрылось из виду, только я окончательно полной грудью вдохнул воздух, убежденный в том, что вчерашнего фантастического ужаса просто не было, что все это воспаленный бред, который я, к счастью, преодолел, победил и забыл, как меня решительно потянули за рукав... Продрогший и осунувшийся, бессонный, стоял перед мною Павел Петрович.

— Неужто выпустили? — озираясь и шепотом сказал он. — Вот уж был уверен, что пятнадцать суток твои.

— А ты как узнал, что я здесь? — опешил я.

— А куда тебя еще могли повезти?..

— И ты меня все время ждал?

— После одиннадцати не ждал бы. К одиннадцати приезжает судья...

— А сейчас сколько?

— А сейчас ровно столько, что откроют магазин¹. Пошли!

Так я был наказан, и опять выше, за ханжество, только что столь меня преобразившее! И выходили мы уже из магазина с двумя бутылками, на этот раз точно портвейна «Кавказ». Причем угощал опять он, вот что удивительно. Ибо целы у него оказались мои пятерки, и вовсе не покупал он водку у Семиона, а тот был ему ее должен... И вот, шурясь на белый свет, и ощущая взгляды на своей испитой коже и внезапной щетине, и прижимая к пузу петарды с «Кавказом», будто под танк с ними бросаясь, а вернее под «КРАЗы» и «МАЗы», стоим мы посреди улицы, задыхаемся, и никак нам этот поток не перейти, и уж я-то точно не знаю, куда дальше, и уже больше совсем не хочу туда, «где нас очень ждут», да и ПП будто сник после ночи... Ни тебе садика, ни скверика — крошечный район: новостройка, которая уже не новостройка, а застройка пятидесятых. Слоновые строения с глухими крепостными подъездами и особыми, выросшими за эти четверть века старухами на лавочках у подъездов... И даже всюду вхожий Павел Петрович будто наконец растерялся. Но вы не знаете Павла Петровича! И я тогда еще не все про него знал... Буквально в двух шагах было дело, на них-то он и прищуривался, не от растерянности, а для рывка... Напротив магазина шел ремонт, а вернее перестройка первого этажа под что-то такое, под другой скорее всего магазин. Рассыпающаяся звезда сварки и был наш ориентир... Работяга, накинув забрало, варил некую конструкцию в чернющем дверном проеме. К нему-то и направился уверенно Павел Петрович, а я безвольно, уже опять поджав, за ним. Павел Петрович подошел к сварщику и даже не сказал ему ничего, хотя точно на этот раз это был не Семион, а, как и мне, совершенно незнакомый ему человек, — не ска-

¹ Отсюда ясно, что действие происходило до 1 июля 1985 года. (Прим. автора.)

зав ему ничего, лишь сказал: «Дай пройти». И тот, совершенно не матерясь, а тут же входя в положение, притушил свою сварку, приподнял забрало, открыв свое хорошее рабочее лицо, готовно отошел в сторонку, освободив нам проход и тоже ничего не сказав, только сказал: «Только вы отойдите туда поглубже...» — мысленно я моментально продолжил фразу: «...чтоб вас не увидели», — но опять был не прав, потому что окончание фразы было другое: «...чтобы я вас не слепил». «Отойдите в сторонку, чтобы я вас не слепил» — не меньшим счастьем, чем утро, встретившее меня за порогом милиции, одарила меня эта фраза! Мы прошли, и он, впрямь не провожая нас взглядом, ничем нас более не напутствуя, продолжил прерванную работу.

В глубине пустого темного зала, наверно, все-таки будущего магазина, стояли строительные козлы; на них-то Павел Петрович и расположил — и опять уютнейше! — наше достояние. Рабочий (не хочется называть этого благородного человека работягой) сверкал в единственном светлом на все помещение проеме, и мы молча выпили по первому стакану и молча подождали довольно быстро пришедшего обновления обоих наших организмов, и стало хорошо, опять хорошо и снова хорошо, и мне показалось, что рабочий защищает нас, отстреливаясь, от нехорошего, недоброжелательного к нам мира...

— Хочешь, совсем честно тебе скажу, — сказал Павел Петрович и посмотрел на меня так грустно, что я не понял.

Но я был настолько снисходителен к нему ввиду такого благородства нашего рабочего, нашего защитника, нашего пулеметчика... что уже как бы не помнил (хотя на самом деле помнил) его ночного предательства, я был снисходителен и не хотел слышать его оправданий, его унижающего его лганья, и я сказал, любуясь моим рабочим:

— Что ж ты ему-то не предложил, а?

— Он не будет, — ясно ответил Павел Петрович.

— Почему же не будет?

— Потому что он в обеденный перерыв будет.

— Ты с ним знаком?

— Откуда?.. В первый раз вижу. Так хочешь, я тебе скажу?

— Ну? — спросил я недовольно, все еще не пережив своего героического поведения в милиции.

— Честно говоря, я ужасно струхнул, поэтому тебя и бросил.

Нет, я еще не знал этого человека! Он никак не мог смириться с мыслью, что предал меня. Нет, он не предал. У него как бы не было выбора. По целому ряду обстоятельств, о которых он мне когда-нибудь расскажет, он не имел права рисковать. С другой стороны, я должен был понять, что я у него на всю жизнь, и должен положиться на него как на себя. Но если бы я знал все, если бы я имел хоть какое-нибудь представление о том, что ему пришлось за жизнь пережить...

Что же это за власть он захватил, хотя бы и над одним мною?.. Вряд ли я один... Опять я поплелся за ним, как зять Мижуев.

Вот это было то, что мне никак не удавалось уловить и на что я бесспорно попадался: пауза и доза. То есть я не могу уловить закона и ритма, по которым он это варьировал; то полстакана, то стакан, то треть, то через пять минут, то через час... За точность времени я, конечно, не мог ругаться, потому что вряд ли хоть какое-то чувство времени во мне сохранилось. Но было что-то от власти над собой и над процессом в его неумолимом, самоубийственном пьянстве, и уж совсем непонятно было, как я-то выдерживал это с ним равенство, но всякий раз, как он находил нужным добавить или повторить, я оказывался вполне способным, а иногда даже готовым это вынести. И рассказ его, и бурные барашки мыслей, предвещавшие штурм очередной системы мира, были каким-то образом подчинены и организованы кажущейся бессистемностью тостов. Ибо он держал руку на этом аритмичном пульсе! Трудно было в это поверить, а тем более оформить как мысль, но он пил как бы не сам, а — мною, и не я подчинялся его желаниям продолжить, а он — руководствовался моими сначала способностями, а потом и возможностями. Страшные истории своей вызывающей сочувствие и ужас жизни помещал он между этими неравными в пространстве и во времени стаканами... Фашисты подожгли дом; мычали овцы; трепетал флаг над сельсоветом; трактор раздавил пьяного в колее; ночью под фары «студебекера» вышел кабан; их нашли лишь через неделю в погребе оголодавших и забывших слово «мама»; брат бежал из колонии, но оказался «коровой»: его съели товарищи по побегу в пятидесяти километрах от Улан-Удэ; в пирожке в станционном буфете нашли детский пальчик; отец изнасиловал сестренку в борозде... Это был многосерийный телевизионный рассказ, в котором им оказались сыгранными все роли. Но я не сомневался. Иногда мой слабый разум пытался высчитать возраст героя и сбивался, как и от попытки высчитать количество выпитого. Мой субутыльник и современник прожил несколько жизней, достигая иногда и семидесятилетнего и семилетнего возраста одновременно; события, которых он был участником, а иногда лишь свидетелем, бывали историческими, но тогда роль и ракурс становились фантастическими и, ровно наоборот, убедительность и реальность фактов личной его жизни окрашивали факт исторический в самые фантазмагорические цвета. Но каждое из этих биографических колен имело все один и тот же подмысел: предательство. Всякий раз он был несправедливо, незаконно, случайно, умышленно, не по своей воле и т. д. изгнан, отторгнут, выселен, посажен, казнен, унижен, растоптан — в университете, в армии, в оркестре, в бригаде, в детском саду, в Академии художеств — упиралась и обрывалась его столбовая дорога, светлый путь, призвание, назначение. Всякий раз его п р е д а л и. И каким бы я ни был ему безукоризненным слушателем и сколь бы плохо я ни соображал, от меня не могла вполне ускользнуть связь этой бесконечной цепи предательств с тем, что этой ночью он смылся, а меня — забрали. Мое сочувствие его злключениям и вера в истинность происшествий потому и не устраива-

ли его, что чем больше он говорил, тем больше и оправдывался, и чем больше я с ним соглашался, тем туже он эту собственную петельку и затягивал. Моего умысла в этом не было, и то, что я преисполнялся в его глазах и все возвышался, по-видимому, изводило его...

— Вот и ты меня предашь... — тихо и властно, будто склоняясь на вечере к Иуде, наконец произнес он.

Я ничего ему не ответил, во-первых, потому, что не мог, а во-вторых...

— Достаточно во-первых, — прервал он мое молчание. — Так сказал Наполеон.

Иуда, кажется, ведь тоже промолчал... И впрямь «Кавказ» весь был выпит. Здесь, из темноты, так ярко светился дверной проем, такое за ним было солнце, будто сразу за дверью было небо, а не улица. Звал этот проем. Искры сварки, казавшиеся такими слепящими, когда мы входили, теперь бледно рассыпались в солнечном свете. Рабочий так же молча посторонился, пропуская нас...

Там мы и оказались на солнечном свету. Чувствительность моя была, как у фотопластинки, я пытался спрятаться в собственном рукаве, и не вполне мне это удавалось — я засвечивался по краям... Павел Петрович, опечаленный моим грядущим предательством, больше не говорил о будущем, даже ближайшем. Однако куда-то мы уже шли, взгляд милиционера останавливался на нас и, взвесив и оценив, пропускал до следующего. Он пропускал нас, как мы стакан, в том же невяном ритме. Тут я уже что-то плохо помню... Мы говорили теперь только о России. Самый неотступный, самый невоспоминаемый разговор.

Но продвигались мы упорно. Бесспорно, по России. Кажется, опять нас где-то «очень ждали». Кажется, даже к нему домой. У него, оказывается, и дом был. И семья. И жена. Она нас тоже очень ждала. Но как это было далеко! За семью долами, за семью горами... На каждой из гор добывалась бутылка и в каждом долу распивалась...

Я обнаруживал себя то там, то тут и где-то, наверно, бывал между тут и там. Тут — был зеленеющий дворик меж хрущевских пятиэтажек, выстроенных в каре. Зеленеющий дворик с подростками за прошедшую так быстро историческую эпоху деревьями, но все еще не окончательно выросшими. Они торчали вокруг детской площадки с грибами, и песочницами, и ракетой в виде детской горки и оттого напоминали второгородников-переростков, кстати, как раз возвращавшихся уже в наше время из школы — сбежали с последнего пения, — тоже выросших из школьной формы. В тени одной из таких школьниц с коленками, в тени юной тополихи, на доминошном столике, раздавив с игроками и снова сбежав и раздавив, играли мы в рулетку, сделанную из стирального таза, принадлежавшую некоему Жоржику... Там проиграл я, под ласковыми и нежаркими солнечными лучами, свои все еще остававшиеся пять рублей, а Павел Петрович отыграл их, достав со вздохом заначенные от «собачьих» денег три... как говорил Павел Петрович, «три рубли». «Посыла-

ем семь рублей на покупку кораблей, остальные три рубли...» — декламировал Павел Петрович, ставя сразу на красный и на нечет, и выигрывая и там и там, и тут же все вместе просаживая на зеро.

Проигрыш уводил нас в новую даль и приводил почему-то на базу спортторга, закрытую к тому же на переучет, но там-то нас как раз и впрямь «ждали». Павел Петрович и здесь был совсем свой и даже нужный человек. Ему обрадовались, на меня не обращали внимания. Старейший плейбой заводил нас в свой кабинетик, где Павел Петрович разворачивал газетку, в которой было что-то вроде книжицы (она была с ним, выходит, весь наш нелегкий путь — и он не забыл, не выронил и не потерял...). Книжица эта была не чем иным, как освеженной доской от Семюна с теми же Кириллом и Мефодием, что и вчера. Они лаково и трезво блестили теперь под японским календарем с голой япончой, искусной позой скрывавшей некоторую краткость ноги, зато не скрывавшей всего остального. Изысканно, даже с икрой накрыл нас щедрый плейбой на гимнастическом коне. Плейбой накрывал и уронил с неловкой поверхности коня хлеб, я покачнулся поднять, а он махнул рукой: пусть, — а Павел Петрович — тот трепетно поднял его, поцеловал и сказал: «Прости, хлебушек». Хотя был хлебушек — с икрой. И, усевшись на гуде матов, меж лыжами и рапирами, вдыхая дивный запах дерева и резины, пришли мы немножко в себя. Весело стало мне среди этих неуклюжих спортивных чудищ, дисциплинированно сработанных в неких выселенных за края нашего сознания артелях — слепыми, малолетними преступниками, престарелыми актерами и прочими отверженными кастами! Весело, и захотелось плакать. И плакал я, обнимая школьной памяти козла за прочную его ногу. И очень заботливо и тактично входил в мое положение добрый зав, и, утешенный, выходил я с Павлом Петровичем далее, откуда, как уверял он, нам было уже рукой подать.

Рукой подать нам стало в некоем одичавшем яблоневом саду, предварявшем самую отдаленную в городе новостройку. Рассыпанной пачкой рафинада искрились корпуса в лучах закатного солнца, подавляя остатки моего сознания чистотой и недоступностью всеобщей созидательной жизни. И сад, по которому мы уже шли, был необыкновенно красив и велик со своими редко и стройно, по-солдатски, расставленными корявыми и приземистыми деревьями, в ветвях которых уцелевало по одному корявому, в точечках яблоку, которыми мы и закусили. Здесь, в густой траве, меж деревьями, на красиво отлогом склоне, ввиду того дома, где нас «очень ждали», был наш последний привал. Это была и впрямь долина, дол, отделявший предпоследний микрорайон от последнего. И сил у нас уже не оставалось. И мы были у цели. И какая-то оконченность, исполненная скорби и счастья, светилась в закатном воздухе, застоявшемся между яблонь. Здесь было преддверие рая, последняя черта раздумья перед тем, как — неизвестно что. Мы дошли до конца. Мы выпили, и сознание мое прояснилось как еще ни разу в жизни. Павел Пет-

рович этого только и ждал, будто два дня сознательно и неуклонно вел именно в эту точку.

— Теперь я скажу то, что преждевременно было тебе говорить раньше...— сказал Павел Петрович со светлой грустью во взоре. И он положил мне руку на плечо так, как, наверно, клали меч, посвящая в рыцари.

Я сознавал вполне высшую ответственность этого посвящения...

— Все было закончено к приходу человека, налажено и заведено, как часы. Человек пришел в г о т о в ы й мир. Никакой эволюции после человека не было. Она продолжилась лишь в его собственном сознании, повторяла ее в постижении... Но человек перепутал постижение с обладанием, с принадлежностью себе! Мир был сотворен художником для созерцания, и постижения, и любви человеком. Но для чего же «по образу и подобию»?— будучи несколько знакомым с людьми, никак этого не понять. И только так это можно понять, что— «по образу и подобию»: чтобы был тоже х у д о ж н и к, способный оценить. Художник нуждался в другом художнике. Художник не может быть один. Еще больше был нужен Адам творцу, чем Адаму Ева. Что такое творение, что такое готовый этот мир? Лишь в художнике найдется если не ответ, то отклик, если не любовь, то жалость. Не то что творение...— когда я вижу обыкновенную великую живопись, я плачу от жалости. Ибо за любым нашим восторгом таится чувство обреченности: продадим, предадим, распылим, растлим, растратим! Так нет же, и тут мы преувеличиваем себя. И до этой-то мысли дошли лишь индейцы племени яман...

— Как-как?— восторженно воскликнул я.— Какие индейцы?

— Последний индеец племени яман,— печально и торжественно продолжил Павел Петрович,— умер в аргентинском городе Ушуйя в тысяча девятьсот шестьдесят втором году. Родиной племени была Огненная Земля. В середине того века оно насчитывало три тысячи человек. У них не было никакой политической организации, слово старейшины было для них законом. То есть, с нашей точки зрения, они находились на крайне низкой ступени цивилизации. Даже ростом они были метра полтора. И жили себе в хижинах, крытых травой или овечьими шкурами. Однако у них был весьма развитый язык, делившийся на множество диалектов, что особенно затрудняло работу этнографов. Так что ничего от них не осталось. Ни слова, не то что диалекта. Только оказалось, что перед смертью последнего ямана доктор из больницы, в которой тот помирал, записал-таки его на магнитофон. Яман был без сознания и говорил безостановочно, торопился нечто поведать. История с этой пленкой— целый детектив. Она пропала. Потом была найдена чудом, уже в Австралии. Но не в этом дело. Когда ее расшифровали, там вместе с эпизодами истории великого племени оказался изложенным и примечательный миф о творении, впервые, по-моему, трактующий творца нашего как художника. Когда великий бог, кажется Никибуматва, что в переводе означает «пасущий облака», взялся воссоздавать картину жиз-

ни, в его дело сразу вмешался его тень-дьявол, кажется Эсчегуки, в переводе означающий «сырое имя бесследного существа». Никибуматва умел творить форму, а Эсчегуки его ревновал и ни в чем старался ему не уступить, но он не умел творить форму и очень боялся это обнаружить. Присматриваясь к тому, как творит форму Никибуматва, Эсчегуки пробовал повторить, но у него и повторить-то получалось уродливо и коряво. Тогда он начал делать вид, что смеется над Никибуматвой и нарочно делает так уродливо, чтобы показать ему, как нелепо все, за что только ни возьмется великий бог. Никибуматва, будучи истинно велик, не обращал на него внимания, хотя тот ему и досаждал как только мог. Никибуматва сотворил, скажем, форму рыбы и сделал многих рыб, пока не дошел до совершенного дельфина; Эсчегуки, подсмотрев за его работой и бездарно повторяя, к изуродованной форме прибавлял еще обломки других несовместимых существ, тоже совершенно созданных Никибуматвой, и наконец, выдохшись, получал крокодила. Великий бог создавал певчую птицу — Эсчегуки летучую мышь. Никибуматва — бабочку, Эсчегуки — грязную муху. Никибуматва успевал сделать десять прекрасных животных — Эсчегуки их всех уродовал и склеивал ядовитой слюной одного. Но несмотря на завистливость и бездарность, и Эсчегуки многому научился, потому, что втайне вовсе не насмехаться, а сравняться хотел с Никибуматвой. И вот когда великий бог сделал благородного волка, Эсчегуки старался особенно долго, но у него получился шакал. И отчаялся Эсчегуки, и разгневался Эсчегуки, и сообразил он жуткую шутку — стал лепить существо наподобие великого Никибуматвы, и получилась у него — обезьяна. Все терпел великий бог, чтобы только не отвлекаться от великой работы, но этого не стерпел. Но так как он не мог вмешиваться в чужое, пусть и уродливое творчество и так как он не мог помешать жить тому, что уже живо, он и не уничтожил крокодилов, летучих мышей и шакалов, и не поправлял их, раз уж они есть, — так и обезьяну, карикатуру на себя, не стал он никак исправлять, а только брызнул на нее слезой своей досады и капелькой своего пота, на секунду отвлекшись от работы и смахнув слезу и пот усталой рукой. И обожгли обезьяну обе капли, попав ей прямо в глаза, и стало с обезьяной что-то твориться, что она с а м а стала меняться на глазах у ее создателя Эсчегуки, во всем стараясь подражать и походить на Никибуматву; и изменилась она, став человеком, и создали его слеза и пот великого бога, и оттого уделом человека стали любовь и труд: любовь видит форму, а труд ее создает. Но оттого же и человек оказался «по образу лишь и подобию», потому что вовсе не собирался великий бог копировать самого себя, ибо он был настоящий творец, не то что бездарный пародист и карикатурист Эсчегуки. Оттого человек и двойствен по сию пору, что создан он дьяволом, а одушевлен богом. И мог бы он стать во всем подобен богу, да мешает ему дьявольская природа, с которой он борется, но не побеждает, потому что плоть его от дьявола, а дух от бога.

Павел Петрович торжественно умолк, налил в стакан, но так и не выпил и мне не предложил, а снова надолго задумался, как великий Никибуматва, я же молчал, как воодушевленная им обезьяна, у его подножия, глядя на него снизу вверх с обожанием. Тут-то он залпом стакан и осушил.

— И знаешь, что я понял благодаря этому мифу? — сказал он, теперь наполнив и передав стакан мне (он у нас, забыл сказать, был один). — Понял я наконец первую фразу в Библии...

— «Вначале было Слово»? — подхватил я.

— Все-то ты знаешь... «Земля же была безвидна и пуста...» А ты так и думаешь, что — слово. Тогда вы, пишущие, первые люди, не так ли? Уличенный, я скромно потупился.

— «Слово» в оригинале — логос, знание, и я тебе уже это толковывал, но ты еще не смел понять... В начале мира было знание о мире, то есть образ мира. Что и есть по любой системе эстетики основа творчества. Так что уподобление творца художнику не так уж и метафорично, как — точно. До мира существовал его образ, а раз есть образ, художник способен его воссоздать. Значит, образ старше творения во всех случаях, что и подтвердит любой художник на практике. «Слово было Бог...» Не так ли? Так кто же тогда заказчик, а?

Я не знал.

Почему моцартовский черный человек так и не пришел за своим заказом? Только потому, что заказ был выполнен... Величие замысла есть величие изначальной ошибки. Замысел всегда таит в основе своей допущение, то, чего не может быть. Это и есть жизнь. И жизнь есть допущение. Она заказчик, она изначальна, потому, что только жизни — совсем уж быть не могло. Не только в творении, в любом обычном великом произведении найдешь ты эту ошибку... Что неверно в «Преступлении и наказании»? Что Раскольников убил старуху. Лизавету, вторую, он мог убить, но первого убийства совершить не мог — он не такой. Но был ли бы роман, если бы он был «по правде», без убийства старухи? Не было бы и романа. От неправого допущения, лежащего в основе, расползаются по всему созданию по мере исполнения бесконечно вытекающие неточности. Этот труд уточнения и исправления и создает произведение. Воплотить образ или слово значит не только его воссоздать, но и поддаться под замысел. Страдания гения неизмеримы от этой борьбы с изначальным допущением, но тот и гений, кто много допустил. Без этой первородной лжи замысла ничего бы не было; только мертвая материя точна. И вот чтобы была ж и з н ь, надо было допустить неточность и в точном — в самой мертвой материи. Вода! — вот что изобличает в творении творца, в творце — художника. Как там она расширяется и сжимается, кипит и замерзает единственным и противоречивейшим способом из всех жидкостей? Ты, специалист по кроссвордам, должен лучше меня знать... Из воды и вышла жизнь, что всем известно. Так вот не жизнь изумительна, а — вода! Она есть подвид

творца, преступившего гармонию во имя жизни. Не нам себе представлять, чего это ему стоило. Вот что он воистину создал! Воду... От ее капли до нас с тобой меньшее расстояние, чем от неживой материи до воды. Эволюция — это всего лишь роман с неизбежной развязкой; возможно, мы и закроем всю книгу... Поправки, вписки, вычеркнутые места... Есть, впрочем, еще одна принципиальная вставка: нефть! Тоже никто не объяснил толком, почему нефть, как и зачем. А вдруг, создав жизнь, в неизбежности поправок и дополнений он сам нам ее запас, в наше продолжение и будущее... Будто и впрямь куда-то мы должны залететь в нашем будущем. Но не нравится мне. Куда этому допущению до величия первой воды!

Что-то и впрямь плескало во мне и вокруг, как прибой... Серебристая гладь, и дома всплыли... Запахло вдруг морем, как родиной...

— Младенец... — лепетал Павел Петрович, уже тоже прозрачный, растворившийся в смыкающемся вокруг океане. — О, если бы я смог — младенца!.. Его еще никто не нарисовал. Потому что он не человек, не зверь, не бог... А может, и бог... У него лицо — как великая вода, всегда течет, ничего нашего не значит. Видел ли ты истинный пейзаж? Взгляни в его лицо! — ослепнешь. Пейзаж этот проступает в лице матери, ждущей его, носящей его под сердцем... Там, вглядываясь, еще что-то могли бы мы понять, кабы могли... Но нет, творение нам недоступно, только — страсти...

Последний стакан несколько раз перевернулся во мне от неподъемности этой мысли, и я нырнул серенькой темной мышкой в мелькнущую передо мной глубину...

Проснулся я как от толчка в голой кухоньке панельного дома. Следы строительных недоделок возвещали о его новизне. Покоился я на раскладушке, завернутый в одеяльце, и туфли с меня были заботливо сняты. У изголовья стояла бутылка пива и лежала рядом с ней открытая. Отвратительна показалась мне эта забота... О бутылку я и запнулся, встав в носках на линолеум, встав, как колосс на свои глиняные ноги, и шатаюсь, как колос. Подошел к розовеющему окну, чтобы понять, где я и что это за странный живой шум за окном. Я был очень высоко. В сторону от окна простирались бескрайние просторы, уже не городские, а российские. Лес тянулся до горизонта, лишь вблизи дома, за пустующим в этот час шоссе сменяясь молодым густым подлеском. И вот, раздвигая сильной грудью этот подлесок, отчего и происходил дивный шорох, пробудивший меня, мчался в сторону почему-то не леса, а дома чем-то вспугнутый и обезумевший лось. Не такой уж я знаток, не охотник, но был он явно молод, хотя и достиг вполне взрослого размера. Он мчался, раздвигая лесок, как траву, и безумие его взгляда было видно даже с многоэтажной высоты... или мощные его ноги так шли вразнобой и наобум, что казалось, что он ничего не видит перед собой? Над лесным горизонтом краснело солнце ровно на том уровне, как вчера, когда я больше уже ничего не помнил... Тот же ли это был закат, новый ли

восход, следующий ли закат?.. На запад я смотрю или на восток?.. Но сада яблоневого передо мной не было, и можно было предположить, что я смотрю в противоположную все-таки сторону, если вспомнить, что окончательный дом, где нас «очень ждали», был тогда в саду перед нами... Тогда получается восход! Особым, неизъяснимым перламутром еще лишь начинало вспыхивать, подернуто, это прекрасное все... Значит, я в доме Павла Петровича! Ужас, который нельзя объяснить похмельем, охватил меня. Лось промчался на меня и скрылся из глаз моих. Я отлепил лоб от стекла и бесшумно в носочках последовал на рекогносцировку.

Квартира была однокомнатная. Тихо приотворив дверь, я застал комнату, столь же, как и кухня, пустую. Только стены были увешаны бесконечным количеством пейзажей. Подойдя поближе к одному из них, я не без изумления признал в нем тот самый, с которого все и началось. И на соседнем. И на еще соседнем... На всех полотнах был один и тот же пейзаж. Облетали листья, закатывалось и восходило солнце, покрывал все снег, набегали тучи, и лил дождь, и даже в ночном мраке с одинокой звездой угадывались его черты... Все тот же пейзаж, все из той же точки. При всем сочувствии не мог бы я назвать все это сносной живописью, или, что тоже возможно, я ничего не понимал. Но ничего от духа Павла Петровича, два дня трепавшего мою утлую лодочку по своим валам, я в этих картинах не увидел. Но особенно в двух неудачных — непонятная размытая тень, серое расплывчатое пятно неоправданно висело как раз над той точкой, из которой он этот пейзаж писал... Нос! — наконец догадался я. Нос это был. Тот самый, про который он мне объяснял, насколько он в пейзаже не нужен. Осмотрев, я повернулся выйти из комнаты и тут, чуть не вскрикнув, увидел Павла Петровича...

В углу за дверью прямо на полу простирался широкий матрас; около него на коленях — Павел Петрович, осторожно уронив на краешек матраса свою голову, а на самом матрасе — я сразу не понял что... что-то непомерно большое и круглое было прикрыто простыней. И там, вдали, в углу, у самой стенки, за дюной простыни, разглядел я женское лицо. Позы обоих были настолько безжизненны, что ужас обуял меня, и те самые только в литературе встречающиеся волосы зашевелились, как черви, на моей пропитой голове. Комар сидел на ее лбу, его вздвнувшееся брюшко отдельно алело, по чему можно судить было, что рассвело окончательно. Мог ли комар сосать мертвую? Еще теплую?.. И тут я разглядел и бьющуюся на виске жилку, а затем и мерно задышала гора под простыней, и Павел Петрович чуть слышно посапывал... Непомерное ощущение счастья переполнило меня. Я глядел и глядел на это безбрежное беременное лицо, пейзаж степной и вольный, в котором нас уже нет, древний, как курган, и юный, как полевой цвет... И успокоенное и мякотьное личико Павла Петровича... И на обоих следы слез прошедшего ночью быстрого грозового ливня... Тихо, на цыпочках вышел

я из квартиры, дверь была открыта, и замок болтался на последнем винте бесполезный... и никого еще не было на улице, лишь с чьей-то лоджии прокричал петух, и, чуть подумав, ответил ему другой... Тут только я заметил, что я в носках, но за туфлями решительно не вернулся, а направился в сторону предполагаемой трассы ловить машину и ехать туда, где меня ждало свое объяснение.

Да... сказано было... Но кто и кому все это говорил? В истинности чего кто убеждал и кто убеждался? Когда и где? И что произошло? Что произошло из всего этого сказанного? Где витали, куда залетели и где проползаем? Прорывая слои и за края вываливаясь? Углубим наш взлет еще более глубоким падением! По законам соотношения верха и низа, реально их к реальности прикладывая, меняя внешнее на внутреннее и обратно, не меняя жизненного пространства и ничего не поделав в нем и с ним, ничего не производя... меняя внешнее на внутреннее и внутреннее на внешнее, как на базаре вещь на вещь... чтобы женщина стала мужчиной, мертвое живым, мужчина женщиной и живое мертвым... и каковы наш навар и корысть на этом духовном рынке? Столько раз взлетая и падая, столько раз вывернувшись наизнанку или уйдя в раковину, где мы очнулись наутро и с кем? Кем мы проснулись — вот еще вопрос. И кто проснулся?? Странная эта ощупь самого себя — кто это? Вот я до сих пор... с моею даже мне иногда кажущейся пригодностью... другие же, будто сговорились, так в ней убеждены... меня приглашали, потеснялись, звали к себе... звали как своего, как такого же, как не хуже, как даже лучше... звали в люди, звали в народ, звали в народы, в семью... я старался, я подходил, я правился... Когда это кончалось? В какую черту я упирался, каждый раз ее не перейдя? Кто очертил меня этим магическим кругом?.. Я упирался в невидимую черту, за которой кончалось знакомство и начиналась жизнь: обыденность, нагрузка и разочарование. Я никому не был обязан каждый раз: не просил, сами позвали, не очень-то и хотелось, на себя посмотрите... И входил, улыбаясь и скромничая, в следующее чужое существование как в свое. Поэты, женщины, армяне, литературоведы, иностранцы, крестьяне, нувориши и бывшие, классики и модернисты, монахи и заключенные, поколения целые отцов (оно же детей) — все подвигались и чуть ли не уступали место... Я усаживался как на свое, как на пустое, как на никем не занятое, как на никому не нужное... и только родственник человек не подвигался, а требовал разделить с ним вовсе не жизнь, а пол-литра для начала, не подвигался, узнавая не то во мне, не то в себе такого же, на всякий случай подозревая меня в более спорной реакции предательства.

Еще недавно всего было хоть... ешь. Земли, воды, воздуха. Казалось бы. Ан нет. Почти нету. Осталось чуть поднатужиться — и уже нет. Но это еще что — грабеж среды обитания. Золото и драгоценные камни

по-прежнему в карманах, хоть и чужих. Проигранная в карты деревня не исчезала. Закон хоть как-то стоит на страже твердой материи. С материей попрозрачней куда хуже. Куда утекла вода и испарился воздух? А ведь есть вещи еще потоньше и попрозрачнее, чем вода, побесплотнее, чем воздух... Дух! Какой еще никем не ловленный разбой кипит на его этажах! Идеи крушатся по черепам как неживые, как ничьи. Никто за руку (за голову) никого не схватил. Не поймали никого на слове...

Где он? Надеюсь, что жив. А впрочем, уверен. Я же вот сижу... и даже... Чем восхитительна жизнь?! Тем, что она и впрямь — жизнь. Ее — не представишь. Разве мог я знать, что на кухне, где я сижу, кроме меня, два цыпленка, большой и маленький, — все передохли, остались только эти двое от двух последних выводов, но и на кухне им холодно, и маленький все пытается подлезть под большого, хотя на самом деле тоже небольшого, но большой его прогоняет, и тогда, проснувшись, начинают они цокать гуськом по цементному полу, пока наконец не додумаются до того, до чего я бы ни в жизнь не додумался: усесться у меня на ногу как на самом теплом в кухне месте, и хотя я строчу, как пулемет, приближаясь к заветному концу, они попискивают пугливо от этого стука, но не сходят с ноги, попискивают, но терпят, и кто мне сейчас скажет, что я не жив, если на мне, живом, согреваются цыплята, и мы все троим сейчас живы, живы и выживаем, борясь пусть с разным, но все — с холодом? Никто бы, ни тем более я, не предположил такого еще вчера, но кто-то знал... как я вот знаю сейчас, когда за окном начинает сереть и появляется из мрака белая стена дома и дивный английский (абхазский) газон (агазон), ковровый двор, — знаю точно, что сейчас выбегут на эту восхитительную поляну куры и индюшка с бездной индюшат, и просунет ко мне в дверь свою морду телка Мани-Мани (Мопеу-Мопеу) и будет смотреть на меня, здесь неожиданного, как на картине «Поклонение волхвов», и ее прогонит мама Нателла и начнет ставить в духовку хачапури как раз в тот момент, когда я кончаю эту повесть с цыпленком на правой ноге.

23 августа 83 г.

Тамыш

Андрей Георгиевич БИТОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ПОВЕСТЬ

Редактор А. В. Караулов

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 21.01.88. Подписано к печати 09.03.88. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,28. Тираж 150000 экз. Зак. № 1930. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.